18+

Ольга Земцева

НЕ ОТКРЫВАЙ НА ГОЛОС

Узел Каина

ТЁМНЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

ИСТОРИЯ 2



Ольга Земцева

Не открывай на голос. Узел Каина. Темный фантастический триллер. История 2

«Издательские решения»

Земцева О.

Не открывай на голос. Узел Каина. Темный фантастический триллер. История 2 / О. Земцева — «Издательские решения»,

Лера получает сообщение от мёртвого человека. Ян Ветров погиб, но его сознание заперто в проекте «После» — цифровом кошмаре, созданном корпорацией «Нейросфера».Расследуя гибель сестры, Лера погружается в мир, где мёртвые говорят голосами любимых, воспоминания становятся оружием, а каждый шаг приближает её к чему-то, что никогда не должно было проснуться. Не возвращай мёртвых любой ценой. Спасай живых».

© Земцева О.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1 До рассвета четыре часа 6
Глава 2 Красная точка 17
Глава 3 Те, кто не получил голоса 24
Глава 4 Олег Соколов даёт показания 29
Глава 5 Дом без медведя 40
Глава 6 Возвращение речи детям 46
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Не открывай на голос. Узел Каина Темный фантастический триллер. История 2

Ольга Земцева

© Ольга Земцева, 2026

ISBN 978-5-0071-5545-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1 До рассвета четыре часа

Красная точка пульсировала на экране так, будто у города появилось сердце. Не живое. Чужое. Лера стояла перед ноутбуком и смотрела на карту, которая ещё несколько минут назад казалась невозможной. Сотни объектов. Клиники, фонды, речевые центры, интернаты, санатории, лаборатории сна, частные школы, реабилитационные учреждения. Одни точки были серыми, другие жёлтыми, но красная — самая яркая — горела на юге города возле старой телебашни.

Узел К.

Рядом с ней светилась строчка: *ОБЪЕКТ ДОСТАВЛЕН.*

Плюшевый медведь Милы. Вторая капсула. Профиль Яна. То, что Мила спрятала не в двери. Снег за окнами склада падал плотной белой стеной. Казалось, город хотел закрыть себя от всего, что происходило внутри, замести следы, приглушить сирены, спрятать дороги, сделать вид, будто ночь обычная. Но ночь уже не была обычной. Лера это чувствовала кожей.

В воздухе склада пахло металлом, пылью, мокрой одеждой, лекарствами и гарью — слабым, почти призрачным запахом пожара, который принесли на себе те, кто выбрался из «Северного корпуса». У стены на складном диване сидела мать, укрытая серым одеялом. Её лицо было белым и неподвижным, только пальцы время от времени сжимали край ткани, будто она всё ещё держалась за поручень в больничном коридоре.

Отец сидел у двери. Не на стуле — прямо на деревянном поддоне, опустив голову. Его руки лежали на коленях ладонями вверх. Лера уже видела этот жест. Так люди смотрят на ожог, когда боль ещё не пришла, но они уже знают, что кожа повреждена.

Марк стоял рядом с Лерой. Молчал. После «Северного корпуса» молчание давалось ему тяжелее, чем слова. Он привык спрашивать, фиксировать, давить, вытаскивать правду зубами. Но сейчас правда сама раскрывалась перед ними на экране — и от этого не становилось легче. Инга разговаривала по телефону у дальнего стеллажа. Тихо, короткими фразами.

— Нет, не штурм. Я сказала: наблюдение.

Пауза.

— Потому что мы не знаем, что внутри.

Пауза.

— Потому что если там активный узел, группа ляжет ещё на входе.

Пауза.

— Не умничай. Периметр, тепловизор, наружные камеры. Без голосовой связи ближе двухсот метров. Только текст.

Пауза.

— Да, именно поэтому.

Она сбросила вызов и вернулась к столу.

— Есть люди на южном направлении. До объекта доберутся через двадцать минут. Сначала посмотрят снаружи.

Савелий, сидевший за другим ноутбуком, не поднимая головы, сказал:

— Обожаю фразу «посмотрят снаружи». Обычно после неё внутри кто-то уже смотрит на них.

Инга даже не отреагировала.

— Ты логи поднял?

— Поднял. И они меня не радуют, хотя, казалось бы, после телефона без аккумулятора планка радости у меня должна быть низкая.

Кравец лежал на кушетке, но уже в третий раз пытался сесть. Врач, вызванный людьми Инги, жестом приказал ему не двигаться. Кравец проигнорировал.

— Что в логах?

Савелий провёл пальцем по экрану.

— Новая папка «ГОРОД» не появилась из интернета. По крайней мере, не обычным образом. Нет входящего соединения, нет внешнего запроса, нет записи через сеть. Файл как будто был в образе архива заранее, но не отображался до определённого события.

— До какого? — спросил Марк.

Савелий посмотрел на Леру.

— До того, как пришло сообщение про медведя.

Лера не отвела глаз от карты.

— То есть он ждал?

— Или оно ждало. Или архив ждал. Или мы все дружно попали в ад, где у файлов есть драматургия.

Инга наклонилась к экрану.

— Условие активации?

— Несколько. Первое — открытие копии архива вне «Северного корпуса». Второе — наличие рядом телефона Олега Викторовича. Третье… — Савелий запнулся.

Лера повернулась к нему.

— Что?

Он не хотел говорить. Это было видно по лицу. Савелий вообще редко хотел говорить страшные вещи, но обычно говорил, потому что страх для него становился управляемым, если превращался в сарказм. Сейчас сарказм не пришёл.

— Третье условие — голосовая метка Леры.

Мать тихо ахнула.

Марк сразу шагнул ближе к столу.

— Какая метка?

Савелий развернул ноутбук.

На экране была строка служебных данных. Несколько кодов. Время. И короткая запись: *FOX_ACTIVE / PRIMARY ECHO CONFIRMED*

Под ней — ещё одна: *ЛИСА АКТИВНА.*

Лера смотрела на эти слова и чувствовала, как внутри всё снова становится холодным. Не потому, что её назвали Лисой. Потому что это было имя, которое принадлежало не им. Не фонду. Не Беляеву. Не системе. Не Авелю. Не Каину, кем бы он ни был. Это имя дала ей Мила.

— Они не имеют права, — сказала мать.

Голос её сорвался на последнем слове. Никто не ответил. Права у этой системы не было ни на что. Но права и возможности, как выяснилось, жили в разных мирах. Отец поднял голову.

— Это из-за меня.

Лера не повернулась.

— Сейчас не время.

— Из-за моего телефона. Из-за моих подписей. Из-за…

— Я сказала, сейчас не время.

Она произнесла это спокойно. Слишком спокойно. Отец замолчал.

Инга посмотрела на Леру внимательнее, чем раньше.

— Ты понимаешь, что это может быть ловушка?

— Да.

— Не просто ловушка. Адресная. Под тебя.

— Да.

— Они знают, что ты пойдёшь за Яном.

Лера наконец оторвалась от экрана.

— А мы знаем, что они знают.

Савелий поднял палец.

— Я бы на всякий случай записал: «знание о знании не является бронежилетом».

Марк глухо сказал:

— Она не пойдёт одна.

Инга посмотрела на него.

— Никто не пойдёт, пока мы не поймём, что такое Узел К.

— До рассвета меньше четырёх часов, — сказала Лера.

— Именно поэтому нельзя нестись туда вслепую.

— Беляев сказал: «найди Каина до рассвета».

— Беляев — человек, который подписывал детей в систему.

— Или тот, кто хочет, чтобы мы думали, что у нас есть выбор.

Инга резко выдохнула.

— Вот именно.

Врач снова попытался уложить Кравца обратно, но тот отстранил его руку.

— Беляев не просто заманивает. Он показывает карту. Это важно.

Марк повернулся к нему.

— Почему?

— Потому что у человека, который контролирует сеть, нет необходимости раскрывать её структуру. Если он это сделал, значит, ему что-то нужно от свидетелей.

— От Леры, — сказала Инга.

Кравец кивнул.

— В первую очередь. Но не только. От всех нас.

Савелий тихо произнёс:

— «Распространение через расследование».

Все посмотрели на него.

— Что?

Он сглотнул.

— Это строка в служебных тегах. Я сначала решил, что это мусор. Но теперь… — Он снова повернул экран.

Внизу файла карты, почти незаметно, была системная подпись:

INVESTIGATION VECTOR: ACCEPTED

Кравец закрыл глаза.

— Чёрт.

— Перевод для людей, которые не хотят умирать с английским словарём в руках? — попросил Савелий, хотя сам, очевидно, прекрасно понял.

Марк сказал:

— Наше расследование — часть механизма.

— Да, — ответил Кравец. — Возможно, архив не просто доказательство. Возможно, он должен был быть вынесен. Раскрыт. Скопирован. Передан. Чтобы сеть получила новые маршруты.

Инга медленно положила ладони на стол.

— Мы изолировали копии.

— А телефон звонил без аккумулятора.

— Если ты ещё раз это скажешь, я…

— Я напоминаю, что в этой истории изоляция — условное понятие.

Савелий нервно рассмеялся.

— Отлично. Значит, мы не спасли архив, а вынесли инфекцию.

Лера резко сказала:

— Нет.

Все посмотрели на неё. Она не сразу поняла, почему возразила так быстро. Просто слово «инфекция» оказалось неправильным. Опасным. Удобным. Инфекцию уничтожают. А там были дети. Голоса. Ян. Мила — пусть не живая, не возвращённая, не та, кого можно обнять, но её след, её отказ, её предупреждение.

— Это не инфекция, — сказала Лера тише. — Они хотят, чтобы мы так думали. Чтобы было проще сжечь всё целиком. Или наоборот — чтобы мы боялись тронуть. Но это архив. Свидетельства. Украденные голоса. Нельзя позволить им говорить вместо людей, но нельзя сделать вид, что их не было.

Кравец открыл глаза и посмотрел на неё с неожиданным выражением. Не уважением даже. Узнаванием.

— Вот почему он зовёт вас.

— Кто? Беляев?

— Каин.

Слово повисло между ними. До этого оно было именем из сообщения. Угрозой. Библейской ссылкой. Красной буквой на карте. Теперь Кравец произнёс его так, будто речь шла о ком-то, кто уже присутствует в помещении, просто ещё не выбран способ проявиться.

Мать прошептала:

— Не называйте.

Слишком поздно.

На экране ноутбука карта дрогнула.

Красная точка «Узел К» пульсировала быстрее. Сначала Лера решила, что это просто обновление слоя. Потом в правом углу появился новый статус.

NAME RECOGNITION: PARTIAL

Савелий отпрянул от клавиатуры.

— Я не нажимал.

Инга схватила крышку ноутбука.

— Закрыть?

— Нет! — одновременно сказали Кравец и Савелий.

Инга замерла.

Савелий быстро добавил:

— Если это активный процесс, грубое отключение может запустить что-то ещё. А я сегодня уже наигрался в «потрогай страшное — получи проклятие».

На экране появилась строка. Не в отдельном окне. Прямо поверх карты, белыми буквами:

НЕ ВСЯКИЙ ГОЛОС — ЗОВ

Лера почувствовала, как Марк напрягся рядом. Следующая строка:

И НЕ ВСЯКАЯ ТИШИНА — СМЕРТЬ

Кравец побледнел.

— Это не Беляев.

— Откуда ты знаешь? — спросила Инга.

— Беляев пишет как юрист. Даже когда угрожает. Это другое.

— Каин? — спросил Марк.

На экране мигнуло: *ИМЯ НЕ ПРИНЯТО.*

Савелий выдохнул почти с облегчением.

— Великолепно. Оно ещё и придирчивое.

Лера сделала шаг к ноутбуку. Марк сразу схватил её за рукав.

— Не ближе.

— Я не собираюсь его трогать.

— С тобой это всегда вопрос минуты.

Она посмотрела на него. Он не улыбнулся. И ей стало чуть теплее от этой не улыбки: Марк боялся. Не за сюжет, не за материал, не за разоблачение. За неё. Простая человеческая вещь посреди мира, где даже голоса мёртвых могли быть инструментами. Лера вновь посмотрела на экран.

— Если имя не принято, значит, «Каин» — тоже не настоящее.

Кравец медленно сказал: — Или не полное.

Слова на экране исчезли. Карта приблизилась. Теперь на ней был не весь город, а район вокруг старой телебашни. Здание бывшего центра речевой реабилитации. Подземные коммуникации. Старые кабельные тоннели. Линия метро. Теплотрасса. Несколько соседних корпусов, давно переоформленных на разные компании.

Инга тихо выругалась.

— Это не одно здание.

Савелий приблизил план.

— Это комплекс. Просто сверху выглядит как руины.

Марк наклонился.

— Здесь три входа.

— Пять, — поправила Инга. — Два технических. Один через подземный переход. Один через старый гараж. Один через корпус логопедического центра.

— Самое милое место для прогулки до рассвета, — сказал Савелий.

На карте загорелась новая отметка. Не красная. Белая. Маленькая, тонкая, почти незаметная. Она двигалась внутри схемы. Медленно, рывками. То появлялась, то пропадала. Под ней было написано:

Я.Р. / НЕСТАБИЛЬНО

Лера перестала слышать склад. Ян. Он был там. Или его профиль. Или то, что осталось. Или то, что система хотела показать ей как Яна. Но отметка двигалась. Будто кто-то шёл по коридору в темноте и время от времени исчезал из света.

— Это может быть приманка, — сказал Марк.

Лера не ответила.

— Лера.

— Я слышу.

— Нет. Ты смотришь так, будто уже там.

Она с трудом оторвала взгляд от белой точки.

— Потому что он там.

— Или нам хотят, чтобы ты так думала.

— Разница есть?

Марк помолчал.

— Есть. Если он там — мы его вытаскиваем. Если это приманка — мы не даём тобой открыть им дверь.

— А если и то, и другое?

Марк не нашёл ответа.

На экране белая точка остановилась. Потом рядом с ней появилось короткое сообщение:

НЕ ЗОВИ МЕНЯ

Лера зажала рот рукой. Это не было похоже на просьбу системы. Слишком коротко. Слишком больно. Слишком по-человечески. Ян не просил прийти. Он запрещал звать. Кравец тихо сказал:

— Он боится ответить.

Инга повернулась к нему.

— Объясни.

— Если Узел К построен на речевых реакциях, то любое обращение по имени может активировать связку. В «Северном корпусе» дверь открывали через зов и узнавание. Здесь, возможно, наоборот: их заставляют отвечать. Не зовите — значит, не давайте системе его реакцию.

Лера медленно опустила руку. Мила когда-то написала: *«Я бы не просила открыть».*

Ян теперь писал: *«Не зови меня».*

Настоящие голоса не просили использовать их. Настоящие голоса предупреждали. Инга выпрямилась.

— Значит так. Никто не произносит имена внутри объекта. Никаких обращений вслух. Никаких «Лера», «Ян», «Мила», «Беляев». Никаких фамилий. Только условные обозначения в тексте.

Савелий поднял глаза.

— А меня можно называть «тот прекрасный человек, который очень не хочет туда ехать»?

— Тебя вообще лучше не называть.

— Приму как комплимент.

Отец вдруг поднялся.

— Я поеду.

Мать резко посмотрела на него.

— Нет.

Лера тоже повернулась. Олег Викторович стоял неровно, но в голосе впервые за ночь появилась твёрдость. Плохая, запоздалая, но твёрдость.

— Я подписывал документы. Беляев работал со мной. Если там нужна юридическая цепь, мои данные могут…

— Твои данные уже навредили достаточно, — сказала Лера.

Он вздрогнул. На мгновение ей стало больно от собственных слов. Не потому, что они были неправдой. Потому что правда всё равно ранила и того, кто её произносит. Отец кивнул.

— Да. Именно поэтому я должен…

— Нет, — перебила Инга. — Вы остаётесь здесь и даёте полные показания. Все имена. Все даты. Все документы. Всё, что помните. Если мы не вернёмся, эти данные должны уйти наружу.

Отец посмотрел на Леру.

— Я могу помочь.

Она выдержала его взгляд.

— Тогда впервые помоги не тем, что идёшь за мной. А тем, что остаёшься и не врёшь.

Он медленно сел обратно. Мать закрыла глаза. Инга сразу начала распределять задачи:

— Савелий, ты едешь с нами, но внутрь не входишь. Фургон, внешняя сеть, резервные копии, мониторинг карты.

— Прекрасно. Моя любимая роль: человек в фургоне, которого убивают третьим.

— Если будешь продолжать, будешь первым.

— Мотивирует.

— Марк, ты идёшь с Лисой.

Лера заметила, что Инга не назвала её имени. Уже перестроилась.

— Я тоже, — сказал Кравец.

Врач возмутился:

— Вы никуда не идёте. У вас травма, кровопотеря, признаки…

Кравец сел окончательно.

— У меня ещё есть знания, которые могут спасти им жизнь.

— Или убить вас.

— Это сейчас не самый убедительный аргумент.

Инга подошла к нему.

— Ты едва стоишь.

— Зато я знаю, где искать старые речевые протоколы. Если Беляев действительно связан с безголосыми, там будут не медицинские пароли, а логопедические последовательности, детские упражнения, поведенческие ключи. Вы их не распознаете. Марк нахмурился.

— Ты уверен?

— Нет. Но если я прав, без меня вы будете разговаривать с минным полем на языке мин.

Савелий тихо сказал:

— Ненавижу, когда он полезен.

Инга посмотрела на врача.

— Обезболить. Зафиксировать. Если начнёт терять сознание — останется в машине.

— Я не…

— Это не обсуждается.

Кравец хотел возразить, но, видимо, решил сохранить силы для более важного самоубийства. На экране снова мигнула белая точка.

Я.Р. / НЕСТАБИЛЬНО

Она переместилась глубже в схему. Рядом появилась красная линия маршрута. От внешнего входа к центральному блоку. Система показывала им путь.

— Нет, — сказала Инга сразу. — По предложенному маршруту не идём.

Савелий кивнул.

— Ура, у нас ещё есть базовые инстинкты.

Карта дрогнула. Красная линия исчезла. Вместо неё появились сразу пять маршрутов. Потом десять. Потом вся схема покрылась тонкими красными нитями, будто здание внутри было не архитектурой, а кровеносной системой.

И поверх всего возникла новая фраза:

ВСЕ КОРИДОРЫ ВЕДУТ К ТОМУ, КТО СЛЫШИТ.

Мать прошептала:

— Господи.

Лера вспомнила записку Милы.

Если дверь закрылась, ищи того, кто построил коридор.

Она вынула записку из кармана. Бумага стала мягкой от того, сколько раз её разворачивали, сжимали, прятали, вытаскивали снова. Детская лиса на полях смотрела вбок — хитро, зло, живо.

Лера провела пальцем по маленькой морде.

— Она знала.

Марк тихо спросил:

— Что?

— Не всё. Но достаточно. Дверь была не концом. Коридор был построен раньше.

Кравец сказал:

— Мила могла видеть структуру изнутри. Дети часто называли технические вещи образами. Дверь, медведь, лиса, эхо…

— Город, — добавила Лера.

Он кивнул.

— Да. Город.

Снаружи послышался глухой звук мотора. К складу подъехала машина. Инга сразу напряглась, взяла оружие, подошла к боковой камере наблюдения. Несколько секунд смотрела на экран.

— Наши.

Ворота приоткрылись. Внутрь вошли двое людей в тёмной одежде, занесли ящики с оборудованием, бронежилеты, радиостанции, планшеты, медицинский набор, оружейный кейс. Двигались быстро и молча. Их лица были незнакомы Лере, и это было странно: после ночи, в которой мёртвые говорили родными голосами, незнакомые живые лица внушали почти доверие. Инга раздала гарнитуры, но сразу предупредила:

— Голосовую связь используем только до периметра. Внутри — текст, жесты, световые сигналы. Если услышите знакомый голос — не отвечать. Если услышите свой голос — тем более.

Савелий поднял руку.

— А если услышу голос здравого смысла?

— Ты его не узнаешь.

— Справедливо.

Лера взяла бронежилет. Он оказался тяжёлым и чужим. Марк помог застегнуть боковые ремни. Его пальцы задержались на секунду дольше нужного.

— Ты уверена? — спросил он тихо.

Она посмотрела на него.

— Нет.

— Хорошо.

— Хорошо?

— Если бы ты сказала «да», я бы решил, что ты уже не ты.

Лера почти улыбнулась. Почти.

Мать поднялась с дивана.

— Лера.

Инга резко повернулась:

— Имена.

Мать замерла. Потом поняла. Глаза её наполнились ужасом, не перед опасностью даже, а перед тем, что теперь нельзя было просто назвать дочь дочерью.

— Прости, — прошептала она.

Лера подошла к ней.

— Всё нормально.

— Нет. Не нормально. Ничего не нормально.

Мать взяла её за руку. Пальцы были холодными.

— Не иди туда ради меня.

— Я иду не ради тебя.

Мать кивнула, будто это было одновременно больно и правильно.

— И не ради неё, если там не она.

Лера сжала её руку.

— Я знаю.

— Если услышишь её…

— Не открою.

Мать закрыла глаза. По щеке скатилась слеза.

— Я столько лет хотела услышать её ещё раз. Хоть слово. Хоть звук. Я думала, это было бы милостью.

Лера молчала.

— А теперь понимаю: если любишь мёртвых, нельзя требовать, чтобы они возвращались.

Эти слова ударили не хуже крика.

Лера вдруг поняла: мать изменилась. Не полностью. Не искупила всё. Не стала другой за одну ночь. Но что-то в ней сломалось в правильную сторону. Там, где раньше была жадность

горя — услышать, вернуть, удержать, — теперь появилась граница. Запоздалая. Но настоящая. Отец подошёл к столу с документами. Инга поставила перед ним диктофон, камеру и планшет.

— Начинайте с Беляева. Полное имя, должность, где встречались, что подписывали. Без оправданий. Факты.

Он кивнул.

— Роман Сергеевич Беляев, юридический куратор фонда «После»…

Его голос дрожал, но он говорил. Лера слушала несколько секунд и отвела взгляд. Это было не прощение. Но это было начало показаний.

Инга надела куртку.

— Выходим через две минуты.

Савелий запихивал в рюкзак кабели, аккумуляторы и маленький роутер.

— Если кто-то спросит, почему я участвую в этом добровольно, скажите, что меня шантажировали моральным превосходством.

Кравец, уже с перевязанным боком и обезболивающим, попытался встать. Его качнуло. Марк подхватил его за плечо.

— Ты уверен, что дойдёшь?

— Нет.

— Отлично, у нас сегодня командный стиль.

Кравец поморщился.

— Главное — не дать системе заставить нас говорить.

Лера посмотрела на экран в последний раз. Белая точка исчезла. На её месте появилась новая строка:

НЕ ЗОВИ. НЕ ВЕРЬ. НЕ ОТКРЫВАЙ.

Потом — ещё одна

ОН НЕ КАИН

Все замерли. Савелий прошептал:

— Простите?

Строка мигнула и пропала.

Карта снова показала только красный «Узел К».

Инга медленно сказала:

— Кто это отправил?

Савелий посмотрел логи.

— Не знаю. Метка другая. Не та, что у сообщений Беляева. И не та, что у карты.

Кравец побледнел ещё сильнее.

— Ян?

Лера резко подняла руку.

Не зови.

Кравец осёкся.

На экране появилась последняя фраза:

ТОТ, КТО НАЗВАЛСЯ КАИНОМ, БОИТСЯ СВОЕГО ПЕРВОГО ИМЕНИ.

Но прежде чем кто-то успел спросить, что это значит, ноутбук выключился. Не погас плавно. Не ушёл в сон. Просто стал чёрным. Савелий бросился к нему.

— Питание есть. Батарея есть. Он не должен…

Инга уже шла к выходу.

— Берём копии. Дубли на офлайн-носителях. Основной ноутбук оставить.

— Но…

— Если он выключился сам, я не понесу его в машину.

Савелий на секунду задумался.

— Это самый здравый приказ за ночь.

Лера застегнула куртку. В кармане лежала записка Милы. Бумага касалась пальцев через ткань, как маленькая жёсткая косточка памяти. Марк проверил оружие. Кравец взял планшет с копией старых протоколов. Инга открыла дверь склада. Холод ворвался внутрь сразу. Ночной воздух был острым, снежным, почти чистым. Лера вдруг почувствовала, что за пределами склада существует обычный мир: машины, спящие окна, светофоры, дворники, люди, которым утром вставать на работу. Мир, где телефонный звонок — это просто звонок. Где имя на экране не означает, что мёртвые нашли дорогу обратно. Она вышла первой.

Снег хрустнул под ботинками. Небо на востоке ещё было чёрным, но где-то глубоко под ним уже начинало сереть. До рассвета действительно оставалось меньше четырёх часов. На улице стояли две машины. Одна — чёрный внедорожник Инги. Вторая — неприметный серый фургон с оборудованием. Люди Инги грузили ящики молча. Никто не говорил по рации.

Лера остановилась перед тем, как сесть. Ей показалось, что где-то далеко, под снегом и проводами, под крышами и трубами, город слушает. Не метафорически. По-настоящему.

Каждая камера, каждый микрофон, каждый домофон, каждый старый телефон, каждая колонка, забытая в детской, каждый ноутбук на кухонном столе — всё это могло быть ухом. Или ртом.

Марк открыл ей дверь машины.

— Поехали?

Лера посмотрела на юг.

Туда, где за снегом и кварталами стояла старая телебашня. Туда, где был медведь. Туда, где Ян просил не звать его. Туда, где кто-то называл себя Каином — и боялся первого имени.

— Поехали, — сказала она.

И сразу поняла свою ошибку. Сказала вслух. Одно слово. Не имя. Не согласие. Не зов. Но всё равно — голос. Машина Инги мигнула фарами. Не потому, что кто-то нажал кнопку. Фары вспыхнули сами. Один раз. Второй. Третий. А потом из динамика внутри салона, сквозь выключенную систему, сквозь мёртвую электронику, раздался тихий детский шёпот:

— Не туда.

Инга выхватила пистолет. Марк оттолкнул Леру от открытой двери.

Савелий у фургона громко сказал:

— Я официально ненавижу транспорт.

Шёпот повторился. Но теперь он звучал не из машины. Со всех сторон. Из снега. Из проводов.

Из закрытых окон склада.

— Не туда.

Лера стояла неподвижно. Потому что на этот раз голос был не Милы. И не Яна. И не её собственный. Это был голос маленького мальчика, которого она никогда не слышала. Он шептал с трудом, будто каждое слово приходилось проталкивать через воду:

— Он ждёт вас у входа.

Инга медленно подняла руку, приказывая всем замереть.

— Кто? — начал Марк.

Лера резко повернулась к нему. Не спрашивай. Он понял и замолчал. Шёпот стал слабее:

— Идите… через эхо.

Потом всё стихло. Фары погасли. Снег падал. Обычный, белый, равнодушный. Инга несколько секунд стояла с оружием в руке. Потом медленно убрала его.

— План меняется.

Савелий нервно рассмеялся.

— У нас был план?

Кравец смотрел на Леру.

— Через эхо, — сказал он тихо.

Она вспомнила рисунок, которого они ещё не нашли, но будто уже знали. Коридор. Лиса. Мальчик за стеной. Голос из машины сказал: не туда. А Беляев хотел, чтобы они шли к Узлу К по карте. Значит, карта была не маршрутом. Она была приглашением к ловушке. Лера медленно достала записку Милы. Развернула. На сгибе, рядом с фразой о коридоре, проступила ещё одна линия. Может, она была там всегда. Может, просто теперь снег и свет фар упали так, что её стало видно.

Крошечные буквы, почти стертые:

«Эхо — это дверь, которая не знает, что она дверь».

Лера подняла глаза. До рассвета оставалось меньше четырёх часов. И где-то в городе то, что называло себя Каином, уже слушало их молчание.

Глава 2 Красная точка

План действительно изменился, хотя ещё несколько минут никто не мог бы объяснить, на какой именно. Инга не любила импровизацию. Это было видно по тому, как она молчала, стоя возле открытой дверцы внедорожника и глядя не на машину, не на склад, не на падающий снег, а куда-то сквозь всё это, в ту внутреннюю схему операции, которую ей теперь приходилось перестраивать на ходу. Люди вроде Инги привыкали доверять только тому, что можно проверить: карте, периметру, числу входов, оружию, каналу связи, температуре объекта, времени прибытия группы. Голос из выключенной машины в такие схемы не вписывался. Тем более голос ребёнка, которого никто из них не знал и который, если верить всему, что они уже пережили за ночь, мог оказаться чем угодно: предупреждением, приманкой, обрывком чужой памяти, ловушкой системы или чьей-то последней попыткой помочь. Лера стояла под снегом, сжимая в пальцах записку Милы, и старалась не думать о том, что только что чуть не ответила. Не именем, не согласием, не зовом — всего одним словом, обычным человеческим словом, которым начинают любое движение: «поехали». Но теперь даже простые слова становились предметами с острыми краями. Их нельзя было бросать в темноту не глядя. Темнота, как выяснилось, умела ловить. Снег падал густо, почти беззвучно. Он оседал на плечах Марка, на волосах Инги, на открытом кейсе с оборудованием, на капоте фургона, в котором Савелий уже успел забаррикадироваться проводами и планшетами, как человек, искренне верящий, что если между ним и неизвестностью будет достаточно техники, неизвестность постесняется подойти ближе. Кравец, бледный после обезболивающего, стоял рядом с задней дверью внедорожника и держался за неё так, будто собирался не садиться, а удержать машину на месте. Мать Леры смотрела из дверного проёма склада; отец сидел внутри перед камерой, и его голос, тихий, неровный, продолжал время от времени доноситься наружу: «Роман Сергеевич Беляев… юридический куратор… документы подписывались в присутствии…» Эти обрывки казались странно земными, почти бюрократическими, и оттого ещё более страшными. Где-то в тёплом прямоугольнике склада один человек наконец называл факты, а снаружи другой мир пытался сделать так, чтобы факты снова превратились в шёпот. — Никто больше не произносит ничего вслух без необходимости, — сказала Инга наконец. Она говорила негромко, но так, что её услышали все. — Голосовая связь отменяется полностью. Даже до периметра. Переходим на текст и жесты уже сейчас. Машины проверяем. Если в салоне снова что-то заговорит, никто не отвечает. Никто не спрашивает «кто ты». Никто не уточняет. Мы не разговариваем с объектом, пока не поймём, через что он говорит. Савелий, высунувшись из фургона, поднял руку, но, вспомнив только что установленный режим тишины, вместо реплики показал на планшет, где крупно набрал: «А материться про себя можно?» Инга посмотрела на экран, потом на него. Ничего не сказала. Савелий воспринял это как разрешение и исчез обратно. — Что значит «через эхо»? — спросил Марк, но спросил почти шёпотом и сразу поморщился, будто сам себе не понравился. Инга бросила на него короткий взгляд. Марк поднял ладони: понял. Последний вопрос вслух. Кравец вынул из кармана сложенный лист — распечатку схемы, которую они успели сделать до того, как ноутбук погас. Он держал бумагу близко к глазам, потому что снег быстро расплывался на чернилах. — Если буквально, — сказал он, тоже понижая голос, — то в старых речевых центрах «эхом» часто называли комнаты повторения. Помещения для коррекции задержки речи, слуховой обратной связи, артикуляционных тренировок. Ребёнок произносил фразу, система возвращала её с задержкой, иногда изменённой высотой, иногда другим тембром. Для нормальной терапии это использовали, чтобы человек научился слышать себя. Но в проекте фонда… — Он замолчал, потому что всем было понятно, что «нормальная терапия» давно закончилась там, где начинались эти люди. Лера посмотрела на схему. Красная точка «Узел К» всё ещё стояла в памяти так ясно, словно прожгла сетчатку. Бывший центр

«Возвращение речи детям» располагался в старом районе возле телебашни, где город становился неровным: новостройки там резко обрывались у промзоны, за промзоной начинались заброшенные корпуса какого-то советского НИИ, а дальше, ближе к реке, тянулись склады, гаражи, старые кабельные коллекторы и полузаконные офисы в зданиях, которые официально давно должны были снести. Хорошее место для того, чтобы спрятать что-то большое под видом множества маленьких руин. Или, как сказала Инга, не одно здание, а комплекс. — Он сказал, что нас ждут у входа, — произнесла Лера, уже тише, чем раньше, но всё-таки вслух. Ей не хотелось говорить, однако совсем не говорить было невозможно. Люди — не файлы. Их нельзя перевести в беззвучный режим без потерь. Инга кивнула. — Значит, основной вход, который нам показали на карте, исключаем. Все входы, которые были подсвечены в схеме, считаем скомпрометированными. Кравец медленно провёл пальцем по распечатке. — Тогда остаются старые коммуникации. Если у центра были комнаты слуховой обратной связи, их могли строить с отдельной акустической изоляцией. Такие помещения иногда выносили в подземный уровень, чтобы не ловить вибрации с улицы. В советских проектах это часто привязывали к вентиляционным шахтам или техническим тоннелям. Позже, когда фонд переоборудовал здание, они могли использовать старую инфраструктуру. Савелий снова появился с планшетом. На этот раз он ничего не говорил, просто показал всем экран. На нём была карта района, не та красивая, тревожная схема из архива, а грубая техническая подложка: теплотрассы, кабели, коллекторы, старые линии связи. Красным была отмечена телебашня, синим — бывший центр, жёлтым — подземный кабельный тоннель, который шёл от старой подстанции к корпусам НИИ и дальше раздваивался. На экране Савелий набрал: «Старые коммуникации есть. Доступ через подстанцию. Официально закрыта. Неофициально — возможно, дыра в заборе и много крыс». Инга прочла, затем жестом велела ему отправить схему на все планшеты. Несколько секунд телефоны и защищённые устройства беззвучно принимали файл. Никаких сигналов уведомления — Инга заранее отключила всё, что могло пищать, звонить, приветствовать владельца дружелюбным голосом или, что стало особенно важно, чужим. Лера смотрела на карту и думала о слове «подстанция». Оно было некрасивым и спасительным. После всех дверей с лисами, шёпотов, медведей, мёртвых звонков, цифровых контуров и детских предупреждений простая подстанция звучала почти честно. Ржавый забор, табличка «Не влезай — убьёт», бетон, снег, технический люк. Не дверь, которая просит открыть. Просто вход, который не предназначен для людей, но иногда люди всё равно через него пролезают, потому что другого способа остаться людьми у них нет. Инга развернула группу без лишних объяснений. В первой машине должны были ехать она, Лера, Марк и Кравец; во второй, фургоне, — Савелий с двумя людьми Инги, которые отвечали за внешнюю связь, тепловизор и резервные копии. Ещё одна группа, уже на подходе к району телебашни, получала новый приказ: не приближаться к главному входу, не вступать в контакт, не отвечать на аудиосигналы, наблюдать за периметром и по возможности найти активные камеры. Инга печатала быстро, почти не глядя на экран. Её лицо было жёстким и спокойным, но Лера заметила, что перед отправкой каждого сообщения она перечитывала его дважды. В мире, где фраза могла стать ключом, точность переставала быть профессиональной привычкой и становилась способом выжить. Перед тем как сесть в машину, Лера обернулась к матери. Та всё ещё стояла на пороге склада, кутаясь в одеяло. В электрическом свете её лицо казалось старым, значительно старше, чем несколько часов назад. Но взгляд был ясным. Не тем мутным взглядом человека, который столько лет прожил внутри вины и научился путать молчание с защитой, а новым, почти беспощадным к себе. Лера хотела сказать ей что-то. Хотела сказать: оставайся здесь. Хотела сказать: не слушай, если услышишь. Хотела сказать: я вернусь. Но последнее было опасной ложью, первое — и так понятно, второе — слишком похоже на прощание. Поэтому она просто кивнула. Мать кивнула в ответ и, к удивлению Леры, не произнесла её имени. Это оказалось больнее, чем если бы произнесла. В машине было холодно. Двигатель завёлся беззвучно, потому что Инга отключила голосовые

подсказки и всю мультимедийную систему целиком. Даже навигатор теперь показывал только карту без маршрута, без дружелюбной стрелки, без женского голоса, который обычно сообщает: «через сто метров поверните направо». Лера раньше никогда не думала, насколько город наполнен голосами, которым они доверяют автоматически. Лифт говорит, что двери закрываются. Банкомат предлагает забрать карту. Автобус объявляет остановку. Телефон напоминает о встрече. Колонка включает музыку. Система безопасности просит приложить пропуск. Голоса давно стали частью среды, почти воздухом. И теперь каждый такой голос мог оказаться не воздухом, а пальцами на горле. Некоторое время никто не говорил. Это молчание было не пустым; в нём каждый занимался своим. Инга вела машину и одновременно отслеживала планшет, закреплённый у приборной панели. Марк сидел рядом с Лерой сзади, держал телефон в руке и большим пальцем прокручивал сохранённые копии документов, словно пытался убедиться, что они ещё существуют. Кравец, устроившийся по другую сторону, дышал неглубоко, берёг бок и время от времени закрывал глаза, но Лера понимала, что он не спит. Человек, который знает слишком много о чужих ловушках, не может уснуть по дороге в одну из них. Через несколько минут на планшете Инги появилось сообщение от внешней группы. Она не стала читать вслух, просто передала устройство Марку. Тот показал экран Лере. «Основной вход чистый визуально. Следов охраны нет. Тепло внутри есть. На втором этаже движение. Камеры активны. Один источник звука у главного крыльца: детская песня на повторе. Группа не подходит». Лера почувствовала, как по спине проходит холод, хотя в машине уже становилось теплее. Детская песня на повторе. Простая вещь, которую легко представить: маленький динамик, спрятанный где-то у крыльца, тихий мотив из старого мультфильма или логопедического упражнения, голосок, который заманивает не приказом, а памятью. Подойди ближе. Узнай. Вспомни. Ответь. Марк забрал планшет и набрал: «Что за песня?» Инга, увидев это краем глаза, резко покачала головой. Марк стёр вопрос. Понял. Не нужно знать мелодию. Знание тоже может быть крючком. Вместо этого он написал: «Не фиксировать аудио. Только визуально. Держать дистанцию». Инга отправила. Лера отвернулась к окну. Город за стеклом плыл серыми пятнами. Иногда попадались окна, где ещё горел свет: поздние кухни, бессонные спальни, круглосуточные аптеки, подъезды. За одним окном женщина в халате стояла с телефоном у уха. За другим мужчина наклонялся над детской кроваткой. У остановки подросток в капюшоне записывал кому-то голосовое сообщение, поднося телефон почти к губам. Лера вдруг захотела выйти, вырвать у него телефон и сказать: не надо, не оставляй себя в этом мире лишний раз, не отдавай свой голос туда, где его можно будет поднять, скопировать, сложить с чужим горем и однажды вернуть кому-то как оружие. Но машина уже проехала, подросток остался позади, и город продолжал делать то, что делал всегда: говорил, записывал, отвечал, не зная, кто ещё слушает. Планшет снова мигнул. На этот раз сообщение пришло от Савелия из фургона, который шёл позади на расстоянии двух кварталов. «Проверил районные сети. У Узла К странная активность. Не интернет в обычном смысле. Локальные устройства просыпаются рядом с маршрутом. Домофоны, камеры, старые роутеры, рекламные экраны. Как будто кто-то не следит за нами, а собирает уши по дороге». Инга прочла и впервые за поездку позволила себе тихо выругаться, беззвучно, одними губами. Марк набрал на своём телефоне и показал Лере: «Если он собирает уши по дороге, значит, знает, что мы сменили маршрут». Лера написала в ответ: «Или хочет, чтобы мы так думали». Марк посмотрел на неё с усталым раздражением, которое в другой жизни могло бы быть почти нежностью: «Ты сейчас звучишь как Кравец». Она хотела улыбнуться, но не смогла. Кравец, будто почувствовав, что его упомянули, открыл глаза и, не спрашивая, протянул руку к телефону Марка. Тот дал. Кравец прочитал переписку, потом набрал медленно, ошибаясь пальцами: «Смена маршрута всё равно правильная. Если система показывает путь, путь плохой. Если неизвестный голос предупреждает, предупреждение может быть плохим, но совпадение двух плохих вещей иногда даёт одну рабочую». Савелий, которому Марк переслал это сообщение, почти сразу ответил: «Философия

людей, которые регулярно выживают по ошибке». Лера прочитала и всё-таки коротко улыбнулась. Эта улыбка исчезла почти сразу, но она успела почувствовать, что внутри ещё осталось что-то, не занятое страхом. Чем ближе они подъезжали к южному району, тем ниже становились дома. Город терял витрины, становился складским, служебным, ночным. Рекламные вывески попадались всё реже, зато чаще возникали глухие заборы, бетонные блоки, пустые парковки, редкие фонари с жёлтым светом. Старая телебашня появилась не сразу; сначала Лера увидела её отражение в боковом стекле — тёмную иглу, уходящую в снег, — и только потом повернулась и заметила саму конструкцию за крышами. Она стояла далеко, но казалась выше всего в городе. Не живая, конечно. Не сердце. Скорее антенна, которую воткнули в землю, чтобы слушать небо. Или чтобы небо слушало землю. Подстанция находилась в стороне от главной дороги, за пустым зданием автосервиса, где на вывеске ещё можно было разобрать выцветшие слова «шиномонтаж» и «развал-схождение». Инга остановила машину за квартал, во дворе между двумя складскими корпусами. Фургон Савелия подъехал через минуту и встал так, чтобы его не было видно с дороги. Двигатели заглушили. Сразу стало слышно, как снег шуршит по металлу крыш. Дальше шли пешком. Савелий остался в фургоне, и по лицу его было видно, что он одновременно рад этому и уверен, что именно поэтому с ним случится что-нибудь особенно неприятное. Он уже развернул на коленях два ноутбука, подключил внешний аккумулятор, тепловизионный модуль и маленький направленный приёмник, который, по его письменному пояснению, должен был ловить активные радиосигналы, но не записывать звук. Инга строго проверила, что запись аудио отключена физически. Савелий даже вынул микрофонный модуль и положил его в отдельный пакет, подписанный маркером: «НЕ ТРОГАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ПОПРОСИТ». От фургона к подстанции вела узкая улица между гаражными рядами. Снег там был нетронутым, и следы оставались слишком явными. Инга заметила это сразу, остановилась, посмотрела на крыши, на заборы, на тёмные прямоугольники окон и набрала в общем чате: «Идём по краю. След в след. Без света, пока не скажу». Лера шла второй, за Ингой. За ней Марк, потом Кравец, которого Марк время от времени придерживал за локоть, хотя тот делал вид, что не замечает. Впереди подстанция выглядела заброшенной и обычной: кирпичное одноэтажное здание, забор из металлической сетки, таблички с молнией, снег на трансформаторных будках. Никаких детских голосов, никаких песен, никаких красных точек. И всё равно Лера чувствовала, что это место уже включено в чужую схему. Не потому, что видела признаки, а потому, что после «Северного корпуса» тело научилось реагировать раньше разума. Иногда кожа понимает, что на неё смотрят, до того как глаза находят камеру. У забора действительно была дыра. Не большая, но достаточная, чтобы пролезть, если не думать о ржавых краях. Инга прошла первой, осмотрела двор, затем жестом позвала остальных. Когда Лера наклонилась и протиснулась через сетку, ткань куртки зацепилась за проволоку; Марк молча освободил её, и этот маленький жест оказался почему-то важнее всех слов. Она не поблагодарила вслух. Только коснулась его рукава. Он понял. Люк нашли за будкой, под слоем снега и старой фанеры. На крышке был замок, но замок давно проржавел. Инга присела, осмотрела его, затем достала инструмент. Лера ожидала скрежета, но Инга работала почти бесшумно. Через минуту замок поддался. Крышка люка поднялась тяжело, с влажным металлическим стоном, который показался Лере слишком громким, хотя вокруг по-прежнему ничего не шелохнулось. Из люка пахнуло холодом, сыростью, старым бетоном и пылью. Вниз уходила узкая лестница. Не дверь. Не коридор с лисой. Просто технический спуск. Но где-то там, внизу, если верить карте, начинался кабельный тоннель, который мог вывести их к подземному уровню Узла К. Или к месту, которое голос назвал эхом. Инга включила маленький фонарь с красным фильтром и направила луч вниз. Ступени были мокрые, но целые. На стене виднелись старые маркировки кабелей. Ничего необычного, если не считать свежего следа на пыли: кто-то недавно уже открывал люк или проходил рядом. След был едва заметный, но Инга заметила. Она присела, посветила, потом показала всем два пальца и указала вниз. Не один человек.

Двое. Или один прошёл дважды. Марк достал телефон и набрал: «Нас опередили?» Инга ответила в общий чат: «Или нас ведут». Спускались медленно. Металл лестницы был холодным даже через перчатки. Внизу тоннель оказался ниже, чем Лера ожидала; приходилось слегка пригибать голову. По стенам тянулись толстые кабели, часть старых, в потрескавшейся оболочке, часть новых, аккуратно закреплённых пластиковыми стяжками. Именно новые кабели всё портили. Заброшенные места имеют свою честную запущенность: ржавчина, плесень, битое стекло, следы бездомных, граффити. Но новые кабели в старом тоннеле говорили о заботе. Кто-то приходил сюда. Кто-то обслуживал это. Кто-то считал нужным, чтобы под землёй, куда официально никто не должен был спускаться, связь оставалась живой. Через несколько метров связь с фургоном стала нестабильной. На планшете Инги значок сети мигал, но сообщения ещё проходили. Савелий прислал: «Вы под землёй. Сигнал плохой. Вижу локальную активность впереди. Не аудио. Пакеты управления. Похоже на старую промышленную сеть, к которой прикрутили что-то новое и очень наглое». Инга ответила: «Дистанция до точки входа?» «По карте 340 метров до развилки. Потом левый тоннель к центру. Правый к старому НИИ. Но у меня на схеме появился третий ход, которого не было». Инга остановилась. Лера, едва не налетев на неё, тоже остановилась. Марк передал сообщение Кравцу. Тот прочитал, нахмурился и попросил планшет. Несколько секунд он смотрел на карту, затем набрал: «Третий ход может быть акустическим шлюзом или сервисной вставкой после реконструкции. Если он появился только сейчас, возможно, система показывает „эхо“. Не факт, что физически новое. Может быть старый проход, который был скрыт в документах». Савелий ответил почти мгновенно: «Обожаю, когда проходы появляются как психологические проблемы». Они пошли дальше. Чем глубже уходили, тем отчётливее становился звук воды. Не капель, а слабого постоянного течения где-то за стеной или под полом. Тоннель слегка изгибался, и из-за этого красный свет фонаря не доставал далеко; пространство впереди всё время будто складывалось само в себя. Лера старалась дышать ровно. Она думала о Яне, но не называла его мысленно слишком ясно, словно даже мысль могла стать обращением. Это было глупо, наверное. Или уже не глупо. Она больше не знала, где проходит граница. На первой развилке они увидели то, из-за чего Инга подняла руку и заставила всех остановиться. На стене, поверх старой технической маркировки, была нарисована лиса. Не такая, как у Милы. Не совсем. Эта была сделана белой краской или мелом, быстро, несколькими линиями: острые уши, вытянутая морда, хвост петлёй. Рядом — стрелка влево. Лера почувствовала, как сердце ударило слишком сильно. Марк сразу положил руку ей на плечо. Не удерживая — напоминая, что она не одна и что знак, похожий на спасение, может быть самым удобным способом заманить. Инга сфотографировала рисунок без вспышки и отправила Савелию. Ответ пришёл через полминуты: «Сравнил с рисунком из записки. Не совпадает. Имитация. Линии другие. Слишком уверенные. Детская лиса Милы кривая. Эта притворяется кривой». Лера прочитала и почувствовала неожиданную злость. Даже не страх, а злость. Они брали не только голоса. Они брали жесты, символы, детские рисунки, маленькие семейные знаки, всё, что должно было быть защищено своей незначительностью. Лиса Милы была не кодом, не логотипом и не ключом. Она была сестринским секретом, тем смешным, тёплым, бесполезным, что дети придумывают, чтобы мир стал меньше и безопаснее. И теперь кто-то рисовал её на стене тоннеля, как указатель в ловушку. Лера достала записку и поднесла к красному свету. Настоящая лиса на сгибе действительно была другой: неровная, живая, с чуть нелепым хвостом и одним ухом выше другого. Её невозможно было спутать, если знать. Система могла копировать форму, но не знала ошибки. А иногда ошибка и есть подпись. Инга набрала: «По стрелке не идём». Кравец, однако, осторожно коснулся стены рядом с рисунком. Краска была сухой, но не старой. Он посмотрел на пальцы, затем на тоннель вправо и на тёмный проём прямо, которого, как теперь стало видно, раньше действительно не было на схеме. Узкий сервисный ход уходил под небольшим углом вниз. Над ним висела старая табличка, покрытая грязью. Марк посветил фонарём, и Лера разобрала буквы: «АКУСТ. КАМ. №2» Акустическая

камера. Эхо. Никто ничего не сказал. Даже Савелию не стали писать сразу. Слишком очевидно было, что они нашли то, что искали, и одновременно то, что им позволили найти. Инга проверила проём. На полу пыль была нарушена, но странно: следы не шли внутрь, а будто выходили оттуда наружу. Много мелких полос, как от кабелей или тонких трубок, которые протаскивали по бетону. На стене — свежий металлический кронштейн, пустой, словно с него недавно сняли камеру или датчик. Кравец набрал на планшете, медленно, с заметным напряжением: «Если это камера слуховой обратной связи, внутри может быть система задержанного воспроизведения. Не говорить. Вообще. Даже шёпотом. Если услышите свой голос, не реагировать. Если услышите чужой, тоже. Запомните: эхо не обязательно повторяет то, что сказано сейчас. Оно может повторить то, что вы сказали когда-то». Лера перечитала последнюю фразу несколько раз. То, что вы сказали когда-то. Она сразу вспомнила множество слов, которые не хотела бы услышать снова. Ссоры с матерью. Обрывки разговоров после похорон. Собственное детское «я не хочу с ней сидеть», сказанное когда-то про Милу из злости и усталости, а потом годами возвращавшееся в памяти как доказательство чудовищности. Нежные слова тоже вспоминались, но страшнее были не они. Страшнее всего было то, что система умела выбирать не правду, а больную точку правды. Не ложь — хуже. Фразу, вырванную из минуты, где человек был слабее самого себя. Инга шагнула в сервисный ход первой. Проход оказался длиннее, чем казался. Стены здесь были обиты старым звукопоглощающим материалом, местами вспухшим от сырости. Под ногами лежали обрывки поролона, куски кабель-каналов, ржавая сетка. Воздух стал другим — плотным, глухим. Звук шагов исчезал почти сразу, не отражался, не возвращался. Лера почувствовала давление в ушах, как в самолёте, только самолёт хотя бы обещает куда-то прилететь. Через несколько метров ход вывел их к тяжёлой двери. На двери не было ручки снаружи, только утопленная металлическая скоба и круглый смотровой иллюминатор из мутного стекла. Под стеклом сохранилась табличка: «КАМЕРА ЗАДЕРЖАННОЙ РЕЧИ. ВХОД ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА». Ниже кто-то процарапал две буквы: «К. К.» Кравец замер. Марк показал ему экран телефона: «Что?» Кравец долго не отвечал. Потом набрал: «В старых документах был термин „контур коррекции“. КК. Но после фонда эти буквы могли означать другое». Лера уже знала какое. Каин. Или то имя, которое он взял себе потому, что боялся первого. Инга осмотрела дверь и жестом велела всем отойти. Замок был электронный, но старый, с механическим резервом. Она достала набор инструментов, затем остановилась и посмотрела на Кравца. Тот отрицательно покачал головой и набрал: «Если замок подключён к системе, взлом может подать сигнал. Лучше искать ручное отключение питания». Савелий, получив фото замка, через минуту прислал: «Это древний „Медик-4“. У него аварийный сброс должен быть сбоку, под крышкой. Если его не заменили. Только не нажимайте ничего с надписью „тест“. Я серьёзно. В таких системах „тест“ обычно означает „поздравляем, вы участник эксперимента“». Инга нашла крышку сбоку, открутила два винта и потянула рычаг. Внутри двери что-то глухо щёлкнуло. Замок отпустил. Дверь открылась медленно. За ней была темнота — не абсолютная, а матовая, как в помещении, где стены не дают свету распространяться. Инга подняла фонарь, и красный луч выхватил комнату почти квадратной формы. Стены были покрыты перфорированными панелями. В центре стоял старый стол с микрофоном на гибкой ножке. На противоположной стене — большое одностороннее стекло, за которым ничего не было видно. В углу — детский стул, слишком маленький для этого места, и рядом на полу пластиковые кубики с буквами. Лера почему-то сразу посмотрела на кубики. Буквы лежали случайно, но из трёх верхних складывалось: «Я Н Е» Нет, не складывалось. Она моргнула. Просто кубики. «Н», «Е», «Я». Мозг сам подставил порядок. Или не сам. Инга вошла первой, медленно, проверяя углы. За ней Марк. Лера переступила порог третьей. И в тот же момент дверь за их спинами закрылась. Не хлопнула. Не захлопнулась с драматическим грохотом. Просто тяжело и уверенно встала на место, будто кто-то снаружи решил, что так правильно. Замок щёлкнул. Свет фонаря дрогнул. На столе сам собой ожил старый индикатор. Маленькая

лампочка рядом с микрофоном загорелась тусклым зелёным. Инга резко повернулась к двери, но Кравец уже показывал ей: не трогать, не говорить. Его лицо стало серым. Он смотрел не на дверь. Он смотрел на микрофон. Несколько секунд ничего не происходило. Потом из динамиков, скрытых в стенах, раздался звук. Сначала помеха. Сухой шорох плёнки. Потом детское дыхание. Потом голос, записанный давно, плохо, с провалами, но до невозможности живой. — Повтори за мной, — сказал женский голос. Спокойный, профессиональный, слишком мягкий. — Меня зовут… Запись оборвалась. Лера стиснула зубы. Не говорить. Не отвечать. Помеха вернулась, затем женский голос произнёс снова: — Меня зовут… Пауза стала длиннее. Микрофон на столе ждал. Никто не двигался. Тогда динамики щёлкнули, и женский голос сменился другим — детским, тихим, упрямым. Мальчик говорил с трудом, как будто каждое слово было тяжёлым предметом. — Не буду. Кравец закрыл глаза. Лера почувствовала, как Марк рядом едва заметно выдохнул. Женский голос мягко засмеялся: — Почему не будешь? Мальчик молчал. — Ты же хочешь, чтобы тебя услышали? Пауза. — Нет, — сказал мальчик наконец. И в этой комнате, где стены были построены для повторения чужих слов, его короткое «нет» прозвучало так сильно, что Лера почти увидела ребёнка на маленьком стуле. Не Яна. Кого-то другого. Того, кто когда-то отказался первым. Запись зашипела. Потом женский голос сказал уже иначе, без мягкости: — Рома, повтори фразу. Кравец открыл глаза. Лера медленно повернула голову к нему. Он смотрел на динамик так, будто услышал имя мёртвого, хотя Роман Беляев, как они уже знали, был жив. Рома. Первое имя. То, которого боялся тот, кто назвался Каином. Динамики щёлкнули ещё раз, и мальчик прошептал: — Если я скажу нет, вы всё равно сделаете из меня да. Лампочка у микрофона мигнула. На стекле напротив, в тёмной глубине за их отражениями, проступила строка белого текста: «ПЕРВЫЙ ОТКАЗ НАЙДЕН». А ниже, медленнее, буква за буквой: «ТЕПЕРЬ НЕ ДАЙТЕ ЕМУ СТАТЬ ПЕРВЫМ СОГЛАСИЕМ».

Глава 3 Те, кто не получил голоса

Строка на стекле держалась дольше, чем должна была. Лера смотрела на белые буквы, проступившие в темноте за односторонним стеклом, и первое время не могла заставить себя даже моргнуть. Казалось, если она отведёт взгляд, фраза изменится, подменится, превратится в зов или приказ, а может, исчезнет так, будто её вообще не было. Но буквы оставались на месте. Ровные, холодные, почти медицинские. «ТЕПЕРЬ НЕ ДАЙТЕ ЕМУ СТАТЬ ПЕРВЫМ СОГЛАСИЕМ». Рядом, выше, всё ещё бледнела первая строка: «ПЕРВЫЙ ОТКАЗ НАЙДЕН». В комнате было очень тихо. После записи эта тишина казалась не отсутствием звука, а отдельным механизмом, который включился и теперь ждал следующего действия. Микрофон на столе горел тусклой зелёной лампочкой, и Лере чудилось, что он не просто включён, а внимателен. Смешное слово для устройства. Внимателен. Но именно так она и ощущала его присутствие — как маленький чёрный глаз без века, только вместо взгляда у него был слух. Инга первой пришла в движение. Не произнося ни слова, она подняла руку, показывая всем оставаться на местах, затем медленно подошла к двери, приложила пальцы к панели замка и внимательно осмотрела края. Кравец сразу сделал шаг вперёд, но покачнулся; Марк удержал его за локоть. Кравец с раздражением выдохнул, достал планшет и быстро написал, показывая Инге: «Не ломать. Камера может быть частью контура. Если начнём вскрывать грубо, она включит ответный протокол». Инга прочла, её лицо не изменилось. Она ответила на своём устройстве: «Предлагаешь сидеть и ждать?» Кравец набрал: «Предлагаю понять, чего она ждёт». Савелий был вне камеры, в фургоне, но сообщение до него, кажется, ещё доходило рывками. На планшете Инги мигнул значок слабой связи, потом пришёл текст, разбитый на несколько коротких пакетов: «Вижу вас как четыре метки. Сигнал плавает. Дверь закрылась? Если да, не отвечайте на голос. Повторяю: не отвечайте. Понимаю, что совет запоздалый, но он от сердца». Через несколько секунд пришло ещё одно: «У камеры активировался старый локальный контур. Он не в сети полностью. Скорее буфер. Похоже, вы внутри устройства, которое умеет слушать, но не обязано сразу передавать наружу». Марк показал Лере экран. Она прочла и почувствовала странное, почти неуместное облегчение. Не обязано сразу передавать наружу — значит, всё сказанное здесь, всё услышанное, возможно, ещё не попало туда, в большой Узел. Но облегчение было слабым. Камера могла быть карманом. Желудком. Местом, где сначала пережёвывают голос, а уже потом отдают системе. На стекле буквы начали мерцать. Инга резко подняла руку: внимание. Белая строка исчезла. Одностороннее стекло снова стало почти чёрным, но теперь за ним проступил слабый серый прямоугольник, будто с другой стороны включился экран. Изображение появилось не сразу. Сначала полосы, помехи, рывки, затем детская комната, снятая старой камерой сверху. Лера увидела столик, два маленьких стула, настенную панель с картинками: дом, мяч, птица, чашка. У стены сидел мальчик лет восьми-девяти. Худой, с коротко подстриженными волосами, в сером свитере с растянутой горловиной. Он не смотрел в камеру. Его плечи были подняты, как у ребёнка, который всё время ждёт, что его окликнут. Напротив него сидела женщина в белом халате. Лица её видно не было, только руки, блокнот и край бейджа. Звук включился с задержкой, хрипло, словно плёнку достали из воды. — Рома, — сказала женщина. — Мы уже устали спорить. Давай сделаем одно простое упражнение, и ты пойдёшь отдыхать. Мальчик молчал. — Это не наказание. Это помощь. Мальчик чуть повернул голову к стене. — Ты хочешь, чтобы мама услышала тебя? Он вздрогнул, но не ответил. Лера почувствовала, как Марк рядом напрягся. Вопрос был мягким, почти заботливым, но в нём было то же, что и во всех голосах этой системы: не просьба, а крючок, спрятанный в желании быть любимым. Женщина наклонилась ближе. — Если ты не говоришь, взрослые не понимают, что тебе нужно. Мы можем дать тебе способ. Но для этого ты должен разрешить нам помочь. Мальчик наконец посмотрел на неё. Лицо было бледным, губы сухими. Когда он заговорил,

голос прозвучал очень тихо: — Вы не помогаете, когда я говорю. Женщина замерла. Наверное, не ожидала целого предложения. — Что ты имеешь в виду? — Когда я говорю «нет», вы записываете «да». Запись дёрнулась, изображение на секунду распалось. Когда картинка вернулась, женщина уже сидела прямее, а её голос стал холоднее. — Никто ничего не записывает неправильно. Мальчик поднял руку и показал на папку у неё на коленях. — Там написано. Женщина закрыла папку ладонью. — Ты не должен был это читать. — Я читаю лучше, чем говорю. Эта фраза была сказана почти без выражения, но Лера почувствовала от неё боль сильнее, чем от крика. Ребёнок не жаловался. Он сообщал факт. Возможно, единственное оружие, которое у него осталось. Видео замерло. На стекле поверх изображения возникла новая надпись: «РОМАН БЕЛЯЕВ. ПЕРВИЧНЫЙ ПАЦИЕНТ. ПРОТОКОЛ: КОРРЕКЦИЯ ОТКАЗА». Кравец побледнел так резко, что Лера подумала, он сейчас потеряет сознание. Но он удержался, только опёрся ладонью о край стола. Марк набрал на телефоне и показал всем: «Коррекция отказа — это что?» Кравец долго смотрел на фразу, затем написал: «Не лечение речи. Ломка реакции несогласия. Если ребёнок отказывался, систему учили обходить отказ, переименовывать его, добиваться „согласия“ через повторение, усталость, подмену, голос значимого взрослого». Инга прочла и медленно перевела взгляд на микрофон. Лера поняла её без слов. Эта комната была не просто терапевтической. Здесь учили не говорить. Здесь учили, что любое «нет» можно обработать, задержать, отразить, повторить другим тоном, пока оно не начнёт звучать как «да». На стекле видео продолжилось. Женщина сменилась. Теперь напротив мальчика сидел мужчина, худой, с длинными пальцами, в тёмном пиджаке поверх медицинского халата. Лера не сразу узнала его — лицо было моложе, чем на фотографиях, но глаза, внимательные и почти ласковые, были теми же. Резников. Он улыбался мальчику так, как улыбаются не детям, а сложным задачам. — Рома, ты очень умный, — сказал он. — Поэтому я не буду притворяться, что ты маленький. Ты понимаешь, что происходит лучше многих взрослых. Мальчик смотрел в стол. — Если понимаешь, значит, можешь выбрать. Рома молчал. — Твой отказ важен. Правда. Но отказ — это тоже форма связи. Когда ты говоришь «нет», ты всё равно отвечаешь нам. Значит, ты уже внутри разговора. Лера почувствовала, как внутри поднимается тошнота. Это было почти изящно. Настолько изящно, что становилось мерзко. Превратить отказ в участие. Превратить границу в дверь. Превратить молчание в материал. Резников продолжал: — Мы не хотим заставлять тебя говорить. Мы хотим понять, как слышать тех, кто не может. Рома поднял глаза. — Я могу. — Что? — Я могу говорить. Резников мягко кивнул. — Не всегда. — Но могу. — А некоторые дети не могут совсем. Ты же видел их. На этой фразе Рома изменился. Не сильно. Просто перестал дышать на секунду. Резников заметил. — Ты слышал их ночью? Мальчик очень медленно кивнул. — Они не кричат, — сказал Резников. — Не зовут. Не жалуются. И взрослые думают, что им не больно. Потому что боли нет голоса. Мы хотим это исправить. Рома смотрел на него с недоверием, но уже не с тем прямым, чистым отказом, который был раньше. В нём появилась трещина. Резников нашёл правильное место. Не маму. Не страх. Не наказание. Жалость к тем, кто вообще не мог сказать «нет». — Если ты поможешь нам, — сказал Резников, — мы сможем дать им голос. Видео остановилось. На стекле появилась новая строка: «ТЕ, КТО НЕ ПОЛУЧИЛ ГОЛОСА». Комната вокруг стала будто теснее. Лера увидела отражение своих глаз в стекле и не сразу поняла, что это она. Ей хотелось отвернуться, но она заставила себя смотреть. Потому что именно на этом всё и строилось: на желании отвернуться. На том, что безголосых легко не заметить, если они не могут позвать. Кравец написал: «Безголосые. Так их называли в нижнем крыле. Дети с тяжёлыми нарушениями речи, после травм, операций, неврологических поражений. Некоторые понимали всё, но не могли произнести ни слова. Некоторые реагировали только движением глаз, дыханием, пульсом. Их отклики записывали как данные. Потом переводили в искусственные голосовые профили». Лера перечитала сообщение и почувствовала, как в ней сталкиваются две правды, обе невыносимые. Первая: этим детям действительно нужен был

способ быть услышанными. Вторая: взрослые, которые говорили о помощи, использовали их невозможность говорить как самый удобный источник власти. Они брали не голоса — они брали право на голос. А это было страшнее. Инга набрала: «Каин собран из них?» Кравец ответил не сразу. «Возможно, основа. Авель звал голосами умерших. Каин может говорить от имени тех, кто никогда не мог позвать. Поэтому он опаснее. Его ложь похожа на справедливость». Лера прочла последнюю фразу несколько раз. Его ложь похожа на справедливость. Да. Именно поэтому он был страшнее Авеля. Авель просил открыть дверь голосом Милы, и в этом была почти очевидная жестокость: он использовал любовь. Каин, если это действительно был он, мог использовать не только любовь, но и совесть. Он мог сказать: «Ты не имеешь права оставить их в тишине». И человек, у которого ещё осталось сердце, дрогнул бы. На стекле снова появилось видео. Теперь камера снимала длинную палату или, скорее, зал наблюдения. Свет был приглушён. Вдоль стен стояли кровати и кресла с креплениями для медицинских приборов. На экранах мерцали линии пульса, дыхания, активности. В кадре почти не было лиц — только руки, тонкие шеи, датчики на висках, маленькие пальцы, иногда глаза, открытые и неподвижные, иногда быстрые движения век. Слишком много детей. Слишком мало звука. Лера услышала, как Марк рядом очень тихо втянул воздух. Она не посмотрела на него. Если бы посмотрела, могла бы не выдержать. За кадром звучал голос Резникова, видимо, из другого фрагмента записи: — Вербальная коммуникация не является единственным доказательством личности. Если субъект не способен произнести слово, это не значит, что он отсутствует. Вопрос в том, можем ли мы построить систему, которая даст ответ вместо повреждённого канала. Другой голос, женский, спросил: — А если система ошибётся? Резников ответил после паузы: — Люди ошибаются постоянно. Но мы всё равно называем это общением. Кравец закрыл лицо рукой. Лера поняла, что он слышал эти аргументы раньше. Может быть, не эти слова, но тот же смысл, ту же заманчивую, чудовищную логику, в которой зло не приходит с ножом, а садится за стол и предлагает решить этическую проблему техническими средствами. На видео в зал вошёл подросток. Рома. Уже старше, лет тринадцать или четырнадцать. Он нёс стопку карточек с картинками. Резников шёл рядом и что-то объяснял ему. Рома слушал, но лицо его было закрытым. Он подошёл к одной из кроватей. Там лежала девочка с тёмными волосами, очень худая, с фиксатором на шее. Её глаза двигались — быстро, осмысленно. Рома сел рядом, показал карточку с изображением яблока. — Это яблоко, — сказал он тихо. Девочка моргнула один раз. — Да? — спросил он. Она снова моргнула. Рома посмотрел на Резникова. — Она понимает. — Конечно, понимает, — сказал Резников. — Вопрос в том, как сделать так, чтобы её понимали другие. Рома снова повернулся к девочке. — Хочешь выбрать сама? Девочка смотрела на него. Он разложил перед ней две карточки: яблоко и чашка. — Посмотри на то, что хочешь. Глаза девочки медленно сдвинулись к чашке. Рома улыбнулся. Впервые на всех записях. Не широко, не радостно, а осторожно, будто боялся, что улыбку тоже заберут. — Чашка, — сказал он. Из динамика рядом с кроватью вдруг прозвучал синтетический детский голос: — Я хочу пить. Рома вздрогнул. Девочка тоже. Её глаза расширились. На секунду в кадре случилось почти чудо: кто-то, кто был заперт внутри тела, получил наружу простую фразу. Лера почувствовала, как у неё сжалось горло. Это и было самое страшное. Не если бы всё было ложью. Тогда ненавидеть было бы легче. Но там, в начале, действительно был момент помощи. Девочка хотела пить, и система сказала это за неё. Может быть, впервые за долгое время взрослые услышали не пульс и не диагноз, а просьбу. Рома посмотрел на Резникова почти с надеждой. — Видишь? — сказал Резников мягко. — Вот зачем ты нам нужен. Видео перескочило. Та же девочка. Та же кровать. Но теперь вокруг было больше аппаратуры. На её висках датчики, у рта тонкая трубка, на груди ремни. Рома стоял у стены. Он был старше ещё на год или два, и надежды в его лице уже не было. Синтетический голос из динамика произносил: — Я согласна. Рома резко поднял голову. — Она не выбирала эту фразу. Женщина у консоли ответила, не оборачиваясь: — Фраза сформирована по стабильному паттерну согласия.

— Она смотрела на дверь. — Это интерпретация. — Она смотрела на дверь, когда вы сказали «продолжим». — Роман, выйди из комнаты. — Она хотела, чтобы вы остановились. Женщина наконец повернулась. — Ты не специалист. Рома сказал тихо: — Тогда зачем вы всё время просите меня переводить? Запись оборвалась. В комнате задержанной речи никто не двигался. Даже Инга, привыкшая действовать, стояла неподвижно. Лера смотрела на чёрное стекло и чувствовала, как прежняя злость становится холодной, почти ясной. Всё начиналось с чашки воды. А заканчивалось фразой «я согласна», произнесённой за ребёнка, который смотрел на дверь. На стекле появилась схема. Не карта района, а структура данных: круги, линии, имена или коды, многие замазаны, некоторые читаемы. «БЕЗГОЛОСЫЕ / ОСНОВНОЙ КОНТУР». Ниже шли обозначения: «СУБЪЕКТ Б-03. ОТКЛИК: ВЗГЛЯД». «СУБЪЕКТ Б-11. ОТКЛИК: ДЫХАНИЕ». «СУБЪЕКТ Б-19. ОТКЛИК: ПУЛЬС». «СУБЪЕКТ Б-27. ОТКЛИК: СЛЁЗНАЯ РЕАКЦИЯ». Лера читала и думала, что никогда ещё слово «субъект» не звучало так безжалостно. Оно вроде бы должно было признавать личность. Не объект — субъект. Но здесь оно было ширмой. Под ним прятали детей, чтобы не писать имена. Имена, которые можно позвать. Имена, за которые кто-то мог бороться. Кравец вдруг начал быстро набирать. Пальцы дрожали. «Это объясняет, почему Узел К важен. Здесь не просто хранили записи. Здесь строили переводчик. Если Авель был контуром имитации голоса умерших, то Каин — контур принудительного высказывания. Он может брать минимальный отклик и превращать его в речь. Проблема в том, что между „перевести“ и „сказать вместо“ нет технической границы. Только этическая. А они её убрали». Марк прочитал, затем написал: «Почему „первое согласие“?» Кравец ответил: «Потому что Роман был первым, кто отказался и понял, что отказ можно переписать. Если теперь он сам добровольно даст согласие системе, это замкнёт контур. Первый отказ станет первым согласием. Символически и, возможно, технически». Инга нахмурилась и набрала: «Символика меня не волнует. Технически что произойдёт?» Кравец: «Система получит не украденный, а подтверждённый ключ от первичного пациента. Тогда все последующие переписанные отказы можно будет легализовать внутри контура как согласие. Она сможет говорить „они хотели“. И сама себе верить». Лера почувствовала, как её ладони стали влажными. Она вдруг поняла, почему Беляев позвал их. Не только чтобы заманить. Не только чтобы обменять Яна. Ему нужен был свидетель. Если первый отказ должен стать первым согласием, кто-то должен увидеть это и, возможно, признать. Не юридически. Глубже. В самой логике этой системы свидетель был нужен, чтобы превратить насилие в событие, событие — в историю, историю — в право. На стекле вспыхнула новая строка: «СВИДЕТЕЛЬ ПРИНЯТ». Инга мгновенно подняла оружие и направила на стекло, но не выстрелила. Она понимала, что за стеклом может быть что угодно: экран, пустое помещение, ещё одна камера, датчик, ребёнок на старой записи. Выстрел был бы не действием, а реакцией. А система как раз и собирала реакции. Строка сменилась: «ЛИСА ВИДИТ». Лера застыла. Марк шагнул ближе к ней, но она подняла руку: не надо. Внутри всё сжалось, но страха на этот раз было меньше, чем ярости. Они снова использовали это имя. Снова пытались взять то, что им не принадлежало. Но теперь Лера уже знала: если они называют её Лисой, это не значит, что они понимают, что значит быть Лисой для Милы. Система могла найти слово. Не смысл. Она достала записку из кармана и, не говоря ни слова, приложила её к стеклу. Настоящая кривая лиса на бумаге оказалась напротив белой надписи. Несколько секунд ничего не происходило. Потом надпись «ЛИСА ВИДИТ» дрогнула, как плохо настроенный сигнал, и исчезла. Вместо неё появилась другая фраза, мелкая, почти неуверенная: «ОШИБКА СООТВЕТСТВИЯ». Савелий, если бы был рядом, наверняка сказал бы что-нибудь неуместное и спасительное. Но его не было, поэтому комната осталась в тишине, где даже маленькая победа звучала опасно. Инга медленно опустила оружие. В её взгляде впервые мелькнуло что-то похожее на уважение к бумажке с детским рисунком. Не к мистике, не к символу, а к факту: подделка дала сбой. Кравец быстро написал: «Система проверяла идентификатор. Настоящий символ нарушил шаблон. Она знает „Лиса“ как метку, но не

знает внутреннюю ошибку рисунка. Это можно использовать». Лера убрала записку обратно, ближе к телу, будто бумага могла замёрзнуть. В этот момент микрофон на столе погас. Зелёная лампочка сменилась жёлтой. На двери щёлкнул замок. Инга не бросилась сразу. Сначала подождала. Раз. Два. Три. Потом подошла к двери и осторожно потянула. Дверь открылась. За ней был уже не тот короткий сервисный ход, по которому они вошли. Лера поняла это сразу. Путь назад должен был уходить прямо и чуть вверх. А теперь за дверью тянулся длинный коридор с теми же звукопоглощающими стенами, но более чистый, освещённый редкими синими аварийными лампами. По полу шли новые кабели. На стене висели таблички, современные, пластиковые, с чёрными стрелками. «БЛОК ПЕРЕВОДА ОТКЛИКОВ». «АРХИВ БЕЗГОЛОСЫХ». «КОМНАТА ПЕРВИЧНОГО СОГЛАСИЯ». Кравец посмотрел на таблички и медленно сел бы на пол, если бы Марк не удержал его. Инга набрала в общий чат, хотя связь почти пропала: «Камера изменила выход. Мы внутри объекта». Ответ от Савелия пришёл не сразу, с задержкой, обрывками: «Ваши метки… пропали с карты… потом появились… ближе к центру. Как вы… прошли 200 метров за секунду?» Инга показала сообщение Кравцу. Тот закрыл глаза на мгновение, потом написал: «Мы не прошли. Нас переключили. Камера была шлюзом». Лера смотрела в коридор и думала о том, что дверь, которая не знает, что она дверь, всё равно остаётся дверью. Эхо не открылось на голос. Оно открылось на несоответствие. На маленькую ошибку в детском рисунке. На то, что невозможно полностью украсть, если не знаешь, зачем оно было создано. Из глубины коридора донёсся звук. Не голос. Не песня. Не запись. Тихий механический стук, похожий на работу старого принтера. Затем шорох бумаги. Потом ещё один стук. Инга жестом велела двигаться. Они вышли из камеры задержанной речи и оказались в коридоре Узла К. Синий свет делал лица чужими. Стены здесь были чище, чем в тоннеле, но это не успокаивало. Наоборот, чем аккуратнее становилось пространство, тем сильнее чувствовалось, что за ним ухаживают. Кабели были подписаны, пол вымыт, воздух сухой, вентиляция работала. Заброшенность осталась наверху, для случайных глаз. Под землёй объект жил. Первая дверь справа была приоткрыта. Изнутри как раз и слышался механический стук. Инга приблизилась, заглянула, затем знаком показала: можно. Комната оказалась маленьким архивом. Не цифровым — бумажным. Вдоль стен стояли металлические шкафы, на столе — старый матричный принтер, который печатал на длинной перфорированной ленте. Рядом лежали стопки карточек. Принтер работал сам по себе, выводя строку за строкой. Бумага медленно ползла на пол. Марк поднял край распечатки и посветил фонарём. Там были имена. Не коды. Имена, отчества, даты рождения, диагнозы, учреждения, отметки об опекунских согласиях. Некоторые строки были зачёркнуты. Некоторые помечены словом «переведён». У многих в графе «речевая активность» стояло: «отсутствует». В графе «статус» — «контур». Лера подошла ближе. В середине ленты она увидела строку: «Беляев Роман Сергеевич. Первичный пациент. Статус: представитель». Ниже: «Ян Р. Статус: нестабильный переводчик». У Леры потемнело в глазах. Она не произнесла имени. Только схватилась за край стола. Марк сразу оказался рядом. На принтере загорелась красная лампочка. Он напечатал ещё одну строку, медленно, будто выдавливая её из себя: «ЗАПРОС НА ПЕРЕВОДЧИКА ПОДТВЕРЖДЁН». Кравец резко наклонился к бумаге. Принтер продолжал: «ПОДГОТОВКА К ПЕРВИЧНОМУ СОГЛАСИЮ: 03:12:44». Инга посмотрела на часы. До рассвета оставалось чуть больше трёх часов. А где-то внутри Узла К Роман Беляев, первый отказ, шёл к тому, чтобы стать первым согласием.

Глава 4 Олег Соколов даёт показания

Олег Викторович говорил уже сорок две минуты, и за это время камера ни разу не остановилась. Он знал это, потому что красная точка записи горела в углу планшета непрерывно, ровно, почти издевательски. Раньше такая точка показалась бы ему простой технической деталью. Сейчас же она была похожа на глаз — не злой, не добрый, а безразличный. Глаз, который не прощает и не обвиняет, а только сохраняет. И в этом было что-то невыносимое, потому что большую часть своей жизни после смерти Милы он мечтал именно о безразличии фактов. О документах, которые лежат в папке и не плачут. О датах, которые можно назвать и не услышать в них детского голоса. О подписях, которые вроде бы когда-то поставил не он, а какой-то другой человек, растерянный, усталый, напуганный и потому не до конца виновный. Теперь этот другой человек закончился. Перед ним на столе лежали копии бумаг, которые люди Инги успели поднять из архива, выписки, договоры, согласия, счета фонда, акты передачи, справки с печатями, настолько привычно официальными, что от них становилось дурно. На некоторых стояла его подпись. Неровная, торопливая, но несомненно его. Он пытался однажды сказать себе, что подписывал не глядя, что ему не объяснили, что врачи давили, что жена плакала, что состояние Милы ухудшалось, что любому отцу в такой ситуации можно было подсунуть всё что угодно. Всё это было правдой. И вся эта правда не отменяла главного: подпись всё равно была его рукой, а рука принадлежала ему. Напротив сидела женщина из группы Инги. Её звали, кажется, Аня, но она не представилась полностью, и Олег Викторович не стал уточнять. Она вела протокол, иногда поднимала глаза, иногда показывала ему лист или запись на экране, задавала короткие вопросы и не утешала. За это он был ей почти благодарен. Любое сочувствие сейчас прозвучало бы как попытка смягчить то, что нельзя было смягчать. У стены, завернувшись в одеяло, сидела Наталья. Она не вмешивалась. Первые десять минут она плакала беззвучно, потом слёзы закончились, и лицо её стало сухим, неподвижным, как у человека, который слушает приговор и понимает, что приговор вынесен не только ему, но и всем годам, прожитым после преступления. Иногда Олег Викторович чувствовал её взгляд и говорил хуже. Иногда, наоборот, именно её присутствие заставляло его не уходить в общие слова. — Повторите, пожалуйста, когда вы впервые встретили Романа Сергеевича Беляева, — сказала Аня. Голос у неё был спокойный, почти бесцветный. Такой голос хорошо подходил для протоколов. Он не цеплялся за эмоции, не поднимал волну, не давал человеку спрятаться в чужой реакции. Олег Викторович потёр лицо ладонями. — В апреле. Точного числа не помню. Могу восстановить по переписке, если она сохранилась. Это было после второго обследования Милы в речевом центре. Нам тогда сказали, что стандартная программа не даёт результата, но есть расширенный маршрут через благотворительный фонд. Не напрямую через клинику. Через фонд «После». — Кто сказал? — Сначала врач. Фамилия… Лапина. Или Лапшина. Я путался. Она была неврологом-консультантом, не лечащим врачом. Потом уже нас пригласили на встречу с куратором фонда. Это был Беляев. — Где проходила встреча? — В административном корпусе. Не в больнице. Отдельное здание, на первом этаже. Там были мягкие кресла, детские рисунки на стенах, чай, вода, какие-то буклеты. Всё выглядело не как медицина, а как помощь. Понимаете? Не белые стены, не диагнозы. Там всё было сделано так, чтобы ты впервые за долгое время почувствовал: с тобой говорят как с живым человеком, а не как с приложением к больному ребёнку. Аня ничего не сказала, только отметила что-то в протоколе. Олег Викторович посмотрел на свои руки. — Он был очень… правильный. Не давил. Вообще не давил. Это потом я понял, что давление бывает разным. Он не говорил: подпишите, иначе поздно. Он говорил: вы можете отказаться в любой момент. Он говорил: мы не забираем у вас решение. Он говорил: главная задача — вернуть ребёнку возможность быть услышанным. И это звучало… — Олег Викторович замолчал, потому что слово «красиво» показалось ему

неприличным. Но другого не было. — Это звучало красиво. Наталья тихо произнесла: — Он говорил то, что мы хотели услышать. Аня повернула к ней голову. — Вы хотите добавить к показаниям? Наталья некоторое время молчала. Потом кивнула. — Да. Только я не знаю, как правильно. — Говорите своими словами. Наталья опустила взгляд на одеяло, которым была укрыта, и пальцами начала теребить край ткани. — До этого все говорили о функциях. Речевая функция нарушена. Когнитивная функция сохранна частично. Эмоциональная реакция нестабильна. Моторная усталость. Повторная диагностика. Всё время функции, функции, функции. А Беляев сказал: «Мила злится, потому что вы её не слышите». Просто так сказал. И я… — Она сглотнула. — Я тогда впервые за месяцы подумала не о том, что мой ребёнок исчезает, а о том, что она там, внутри, одна, и мы стоим рядом, но не можем к ней попасть. Олег Викторович закрыл глаза. Он помнил этот момент. Помнил даже цвет чашки на столе — зелёная, с трещиной у ручки. Помнил, как Наталья заплакала, а Беляев не стал её успокаивать сразу, дал слезам случиться, и от этого казался ещё более деликатным. Помнил, как он сам разозлился на врачей, на себя, на болезнь, на Милу даже — не потому, что она была виновата, а потому, что ребёнок, страдающий молча, делает родителей беспомощными до жестокости. А потом Беляев положил перед ними буклет и сказал, что есть программа раннего голосового восстановления. — Он показывал вам результаты других детей? — спросила Аня. Олег Викторович открыл глаза. — Да. — Какие именно? — Видео. Аудио. Там была девочка… Не помню имени. Может, имя и не называли. Она сначала не говорила, потом через синтезированный модуль сказала: «Мама, я здесь». Это было… — Он запнулся. Наталья договорила за него: — Это было убийственно. Слово прозвучало страшно точно. — После такого ты уже не спрашиваешь, где данные хранятся, — сказала она. — Не спрашиваешь, кто будет иметь доступ к записям. Не спрашиваешь, почему в договоре так много страниц мелким шрифтом. Ты слышишь чужого ребёнка, который говорит «мама, я здесь», и думаешь только: а если моя тоже там? Если она тоже где-то внутри и ждёт, когда я найду кнопку? Аня перелистнула папку. — Вам дали прослушать запись до подписания согласия? Олег Викторович кивнул. — Да. — Запись сохранилась? — У нас нет. Может, в архиве фонда. Нам её не передавали, только включили в кабинете. — Кто включил? — Беляев. — Вы уверены? Он хотел сказать «да» сразу, но остановился. Воспоминания после стольких лет были скользкими. Однако эта деталь держалась прочно. Беляев сидел чуть сбоку, с планшетом. Он не демонстрировал технологию как продавец. Он включил запись почти небрежно, будто это не доказательство, а живое свидетельство. И именно эта небрежность убеждала сильнее. — Да. Он. Аня сделала пометку. — Что было в первом пакете документов? Олег Викторович посмотрел на папки. Бумага расплывалась перед глазами. — Согласие на участие в реабилитационной программе. Согласие на обработку медицинских данных. Согласие на аудио- и видеозапись занятий. Согласие на хранение биометрических речевых образцов. Тогда это звучало нормально. Речевая терапия же. Записи нужны для динамики. Потом отдельное приложение… — Он протянул руку к одной из копий. — Вот это. Аня развернула документ к камере. — Приложение 4. «Использование обезличенных эмоционально-речевых реакций в исследовательских целях». — Да. — Вы читали его? Олег Викторович долго молчал. — Нет. Наталья вздрогнула. Он повернулся к ней. — Я не читал, Наташа. Не до конца. Я делал вид, что читаю. Я видел слова «обезличенных», «исследовательских», «без права передачи третьим лицам», «в интересах пациента», и мне этого хватило, потому что я хотел, чтобы хватило. В складе стало очень тихо. За дверью, где стояли машины, кто-то из людей Инги прошёл по снегу. Скрип шагов быстро удалился. Внутри снова остались только красная точка записи, запах холодного металла и голос человека, которому больше нельзя было притворяться, что он не понимал. Аня спросила: — Беляев объяснял, что такое «эмоционально-речевые реакции»? — Да. Он сказал, что это смех, плач, попытки произнести слова, дыхательные реакции, отклики на голос родителей. Всё, что помогает системе понять состояние ребёнка. — Он говорил о возможном использовании голосов родителей?

Олег Викторович поднял голову. — Да. Не сразу. На второй встрече. Он сказал, что дети лучше реагируют на знакомые голоса. Что для настройки протокола нужны наши фразы. Простые. «Мила, посмотри на меня». «Мила, всё хорошо». «Мила, я рядом». Нас записывали в маленькой комнате. По очереди. Наталья закрыла рот рукой. — Я помню, — прошептала она. — Там была мягкая стена. Серый поролон. И микрофон на столе. Олег Викторович посмотрел на неё, и впервые за всё время показаний в его лице появилось не только раскаяние, но и страх узнавания. — Камера задержанной речи, — сказал он. Аня подняла глаза. — Что? Он сам не понял, откуда взял эти слова. Может быть, видел табличку тогда и забыл. Может быть, услышал от Леры перед их отъездом. Может быть, память, как иногда бывает, открыла нужную дверь только тогда, когда за ней уже поздно что-либо менять. — На двери была табличка. Не помню точное название. Что-то про задержанную речь. Там нас просили говорить в микрофон и повторять фразы с разной интонацией. Сначала спокойно, потом радостно, потом строго. Беляев говорил, что ребёнок должен узнавать не только голос, но и намерение. Аня быстро напечатала сообщение кому-то из группы. Олег Викторович заметил движение её пальцев, но не спросил. Он догадывался, что эта деталь важна для тех, кто сейчас шёл внутрь Узла. — Какие фразы вы записывали? — спросила она. Он сглотнул. — Много. Некоторые обычные. Некоторые странные. — Странные каким образом? Олег Викторович закрыл глаза, пытаясь вытащить из памяти не смысл, а звучание. Комната. Поролоновые стены. Красная лампочка. Микрофон. Беляев за стеклом или рядом? Нет, не Беляев. Женщина в наушниках. Беляев вошёл позже. Они давали листы с фразами. Сначала он читал машинально, потом споткнулся на одной, потому что фраза показалась неправильной. — «Открой глаза». «Смотри на дверь». «Ты можешь ответить». «Если ты слышишь меня, повтори». «Мила, скажи да». — Он открыл глаза. — Я тогда спросил, зачем «скажи да», если она не может. Женщина сказала, что это стандартная команда для фиксации согласованного отклика. Наталья побледнела. — Я тоже это говорила? Он не ответил. Ей и не нужен был ответ. Аня спросила: — Были фразы с просьбой открыть? Олег Викторович почувствовал, как холод проходит по позвоночнику. — Да. — Вспоминайте точно. — «Открой, если слышишь». Нет… «Открой мне, если слышишь». Или «открой дверь, если слышишь мой голос». Я не уверен. Наталья встала так резко, что одеяло упало на пол. — Нет. Аня подняла руку, но не останавливая, а прося её говорить. — Нам говорили, это метафора, — сказала Наталья. — Я помню. Я спросила: почему дверь? И Беляев улыбнулся. Он сказал, что для детей с нарушенной коммуникацией тело — как закрытая комната, а речь — дверь. Он сказал, что мы зовём её выйти. Боже мой. Она села обратно, но уже не на диван, а на край металлического стула, будто не имела права на мягкое место. Олег Викторович смотрел на стол. Именно так зло и входило в их жизнь — не через тёмный коридор, не через страшную дверь, не через человека с ледяным лицом. Оно входило через метафору, которую произнесли в нужный момент. Речь — дверь. Позови ребёнка выйти. Скажи ей: открой. Какой родитель откажется? Кто в тот момент станет спорить о формулировках? Аня переключила страницу. — После записи ваших голосов что изменилось в состоянии Милы? Наталья ответила раньше него: — Она стала хуже спать. Олег Викторович кивнул. — Да. Появились ночные реакции. Врачи говорили, что это может быть признаком активации. Что мозг обрабатывает стимулы. Она просыпалась, плакала без звука. Иногда смотрела в угол палаты. Иногда закрывала уши, хотя звука не было. — Вы сообщали врачам? — Да. Нам говорили, что это нормально. — Беляев присутствовал на этих обсуждениях? — Иногда. Он не был врачом, но всегда оказывался рядом, когда нужно было подписать что-то ещё. Он говорил, что программа требует этапности. Что если остановиться в середине, ребёнку будет хуже. Аня подняла взгляд. — Он прямо говорил, что прекращение участия навредит Миле? Олег Викторович медленно кивнул. — Не как угроза. Как забота. Он был мастер этого. Он никогда не говорил: если уйдёте, вы виноваты. Он говорил: я не имею права вас удерживать, но вы должны понимать последствия. И ты сам додумывал вину. Так было даже эффективнее. Планшет Ани

беззвучно мигнул. Она прочитала входящее сообщение, и лицо её впервые изменилось. Очень слабо, но Олег Викторович заметил. Она мгновение смотрела на экран, затем быстро напечатала ответ. — Что случилось? — спросила Наталья. Аня не ответила сразу. Видимо, решала, имеет ли право говорить. Потом повернула планшет экраном вниз. — Группа внутри объекта нашла записи первичного пациента. Романа Беляева. В детстве. Олег Викторович не понял. — В детстве? — Да. — Он был пациентом? — Похоже на то. Наталья медленно подняла голову. — Значит, он знал. — Да, — сказала Аня. — Нет. Не просто знал. Он помнил. Эта фраза повисла в складе. Олег Викторович почувствовал, что внутри него что-то сдвинулось. До этого Беляев оставался в его памяти почти фигурой системы: куратор, юрист, посредник, человек с папками. Виновный, безусловно, но всё же представитель чего-то большого. Теперь он вдруг стал ребёнком. Мальчиком, которого когда-то посадили в комнату с микрофоном и заставляли повторять фразы. И от этого вина Беляева не уменьшилась. Она стала страшнее. Потому что взрослый, который знает, как ломают детей, и всё равно приводит туда других детей, не может спрятаться за неведение. — Он говорил одну фразу, — произнёс Олег Викторович внезапно. Аня сразу включилась: — Какую? — Не помню дословно. Что-то… — Он сжал виски. — Когда мы сомневались перед переводом Милы в закрытый корпус, Наталья хотела отказаться. Она сказала, что Мила нас боится. Что она плачет, когда слышит записи. И Беляев тогда сказал: «Иногда ребёнок сопротивляется не лечению, а возвращению». Нет, не так. Он сказал… «Страх перед голосом не означает отказа. Иногда это первое доказательство связи». Наталья зажмурилась. — Я помню. Олег Викторович посмотрел на неё. — Ты тогда сказала, что это чудовищно. — Да. А он ответил, что чудовищно — оставить её внутри тишины. Они замолчали. Аня напечатала фразу в протокол полностью, затем спросила: — После этого вы подписали перевод в закрытый корпус? Олег Викторович хотел сказать, что не сразу. Что они думали ещё день. Что звонили врачу. Что Милу осматривали. Что всё было сложнее. Но эти уточнения вдруг показались мелкой торговлей за миллиметры. Да, не сразу. Да, после колебаний. Да, под давлением обстоятельств. Но ответ был всё равно один. — Да. Красная точка записи продолжала гореть. Наталья сказала: — Я тоже подписала. Аня посмотрела на неё. — В документах первичным заявителем указан Олег Викторович. — Потому что я не могла держать ручку, — сказала Наталья. — У меня тряслись руки. Он подписал за нас обоих. Но я сказала: подписывай. Олег Викторович резко повернулся к ней. — Наташа… — Нет, — сказала она. — Ты не заберёшь всё себе. Это не благородство, это опять ложь. Мы оба хотели верить. Мы оба позволили им говорить нашим страхом. Он опустил голову. Её слова не утешали, но делали картину честнее. Вина, разделённая пополам, не становилась вдвое легче. Иногда она просто становилась точной. Аня перешла к следующему блоку. — В закрытом корпусе вы видели детей из нижнего крыла? Олег Викторович нахмурился. — Нет. Нам туда нельзя было. — Вы знали о его существовании? — Только по слухам. Санитарка однажды сказала, что там «тяжёлые». Потом её больше не было на сменах. — Что значит «тяжёлые»? — Дети без речи. Без движения. После операций. С аппаратами. Мы их не видели, но… — Он замолчал. — Продолжайте. — Мы их слышали. Наталья медленно повернулась к нему. — Ты мне не говорил. — Я сам не был уверен. Ночью в коридоре иногда включались динамики. Очень тихо. Не плач. Не слова. Как будто кто-то пытался дышать в микрофон. Я думал, это аппаратура. Или вентиляция. Аня уточнила: — Это происходило возле палаты Милы? — Да. И возле комнаты для занятий. Иногда Мила реагировала. Открывала глаза, поворачивала голову к стене. Один раз она… — Он остановился, потому что воспоминание было острым. — Один раз что? — Она пальцем нарисовала на простыне круг. Потом ещё один. Я не понял. Позвал медсестру. Та сказала, что это моторный спазм. Но Мила злилась. Она пыталась показать. Два круга, потом линия. Наталья прошептала: — Очки. Олег Викторович посмотрел на неё. — Что? — Не круги. Очки. Она рисовала очки. Помнишь мальчика с очками? На рисунке, который Лера нашла потом. Мальчик за стеной. Олег Викторович побледнел. — Ян? Наталья вздрогнула от имени, будто оно

было произнесено слишком громко для этой ночи. Аня быстро подняла руку. — Осторожно с именами. Он понял, хотя не до конца знал, что именно происходит внутри объекта. Уже сама просьба звучала достаточно страшно: осторожно с именами. Будто имя перестало быть способом позвать человека и стало способом отдать его. — Простите, — сказал он. Аня посмотрела в протокол. — Вы можете описать этого мальчика? — Я не видел его. Только рисунок потом. Маленький, худой, в очках. Мила называла его… — Он запнулся. — Нет. Я не знаю, называла ли. Она почти не говорила тогда. Но Лера говорила, что у Милы был «мальчик за стеной». Мы решили, что это фантазия. — Почему? — Потому что так было удобнее. Эта фраза вышла сама, без защиты. Аня молча записала. В этот момент у неё снова мигнул планшет. Она прочла сообщение, и на этот раз уже не смогла скрыть напряжение. Наталья заметила. — Что? Аня несколько секунд колебалась, затем сказала: — Они нашли архив безголосых. И упоминание о подготовке к «первичному согласию». Таймер около трёх часов. Олег Викторович поднялся со стула так резко, что тот заскрипел. — Что это значит? — Мы пока не знаем. — Вы знаете достаточно, раз у вас такое лицо. Аня посмотрела на него строго. — Сядьте. Ваше показание сейчас может быть важнее, чем попытка куда-то бежать. Он не сел. Наталья вдруг сказала: — Первичное согласие связано с родителями? Аня повернулась к ней. — Почему вы так думаете? — Потому что они всё время строили цепь согласия. Ребёнок не может — подписывает родитель. Родитель сомневается — подтверждает врач. Врач не уверен — оформляет фонд. Всё как лестница. Никто не виноват, потому что каждый только передал решение дальше. Олег Викторович медленно сел. Наталья говорила всё быстрее, будто в ней открылась дверь, за которой годами стояли забытые детали. — На последней встрече Беляев сказал, что наш отказ уже невозможен в прежней форме. Я тогда не поняла. Он сказал: «Вы можете прекратить участие, но не можете отменить уже полученный отклик». Я спросила, что это значит. Он ответил: «Мила уже ответила». А она не отвечала. Она только плакала. Я сказала это. Он посмотрел на меня так… не зло, нет. Почти с жалостью. И сказал: «Плач — тоже ответ». Аня очень медленно положила ручку на стол. — Повторите последнюю фразу. Наталья посмотрела на неё. — «Плач — тоже ответ». Олег Викторович закрыл лицо руками. Всё сходилось. Ужасно, логично, без единого мистического провала. Если взгляд можно записать как выбор, дыхание как желание, слезу как согласие, а плач как ответ, тогда больше не существует отказа. Тогда любой живой отклик можно повернуть в нужную сторону. Тогда ребёнку не нужно говорить «да». Его тело сделает это за него, если за пультом сидит тот, кто уже решил, что «да» необходимо. Аня отправила сообщение группе. На экране на секунду отразился текст: «Плач тоже ответ. Проверьте протоколы согласия по эмоциональным реакциям». Потом она снова повернулась к Олегу Викторовичу. — Был ли момент, когда вам предложили записать не просто фразы, а согласие голосом? Он нахмурился. — Что значит? — Например, произнести: «Я разрешаю», «Я согласен», «Продолжайте». Олег Викторович открыл рот, но не ответил сразу. Память сопротивлялась. Не потому, что не было. Потому что было, но он спрятал это глубже остальных. Не в день подписания. Позже. Уже после закрытого корпуса. Когда Милу перевели на третий этап. Им сказали, что для обновления юридического пакета нужно аудиоподтверждение, формальность, защита от подделки подписи. Он тогда ещё пошутил что-то насчёт бюрократии, а Беляев ответил, что будущее за голосовой идентификацией. — Да, — сказал он наконец. — Было. Наталья обернулась к нему. — Когда? — После второго ночного приступа. Ты спала в комнате для родственников. Меня позвали вниз. Сказали, нужно подтвердить продолжение протокола, потому что состояние нестабильное. Я подписал бумагу и произнёс в диктофон… — Он сглотнул. — «Я, Соколов Олег Викторович, подтверждаю согласие на продолжение программы голосовой реабилитации несовершеннолетней…» Дальше полное имя Милы. Потом фраза: «Отклик пациента считаю достаточным основанием для продолжения». Наталья смотрела на него так, будто не узнавала. — Ты мне не сказал. — Я думал, это формальность. — Ты мне не сказал. — Наташа… — Она в ту ночь боялась собственного имени, — сказала Наталья. — Она вздраги-

вала, когда я её звала. А ты подтвердил, что её отклик достаточен? Олег Викторович не защищался. — Да. Её лицо исказилось, но она не заплакала. Слёз больше не было. Аня спросила: — Кто диктовал текст? — Беляев. — Вы уверены? — Да. Он стоял рядом. Я помню, потому что он поправил меня. Я сказал «лечение», а он сказал: «Лучше программа. Лечение подразумевает диагноз, а мы работаем с коммуникацией». Я тогда подумал, что он придирается к словам. Аня тихо сказала: — Он не придирался. Нет. Конечно, нет. В этой системе слова были не описанием, а инструментом. Сказать «лечение» — оставить возможность ошибки врача, осложнения, вреда. Сказать «коммуникация» — сделать всё разговором. А в разговоре всегда есть две стороны. Даже если одна сторона — ребёнок, который плачет и закрывает уши. Планшет Ани снова мигнул, но на этот раз звук был отключён, и всё равно Олег Викторович почувствовал это как удар. Она прочитала сообщение и нахмурилась. — Что там? — спросил он. — Связь с группой нестабильная. — Но они живы? — Да. Это «да» было слишком быстрым, слишком служебным, чтобы утешить. Наталья вдруг поднялась. — Мне нужно туда. — Нет, — сказала Аня. — Вы не понимаете. Если там цепь согласия, если наши голоса использовали, мой тоже может быть ключом. — Именно поэтому вы никуда не пойдёте без приказа Инги. — Инги сейчас нет здесь. — Зато здесь есть я, и мой приказ такой же. Наталья посмотрела на неё с тихой яростью. — Вы не удержите мать, если её голосом открывают дверь к её детям. Аня не повысила голоса. — Удержу. Потому что именно на это они и рассчитывают. Эти слова подействовали сильнее силы. Наталья остановилась. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Олег Викторович впервые за много лет увидел в жене не только боль, но и ту часть её, которая могла бы стать опасной, если бы её снова попытались использовать. — Тогда запишите меня, — сказала она. Аня чуть прищурилась. — В каком смысле? — Запишите мой отказ. Сейчас. Полностью. Если они где-то используют мой старый голос, пусть у вас будет новый. Не тот, который хотел верить. Этот. Аня медленно кивнула. — Это имеет смысл. Олег Викторович поднял голову. — Мой тоже. Наталья не посмотрела на него. Аня поставила перед ними отдельный диктофон, но не тот, который был подключён к сети. Маленький автономный прибор из прозрачного пакета, новый, с вынутым модулем беспроводной передачи. Она включила запись и положила рядом бумажный блокнот. — Говорите по одному. Коротко. Без имён детей, если можете избежать. Формулируйте отказ от любого использования прежних согласий, голосовых записей и эмоциональных реакций как разрешения. Наталья села прямо. Её голос в начале дрогнул, но потом стал твёрдым: — Я, Наталья Соколова, отказываюсь признавать любые мои прежние подписи, записи, фразы, слёзы, просьбы и согласия разрешением на использование голоса, памяти, боли или страха моего ребёнка. Я не разрешаю говорить за неё. Я не разрешаю звать её моим голосом. Я не разрешаю считать её плач ответом «да». Если где-то сохранён мой голос, который просит открыть, продолжить, согласиться или вернуться, этот голос не является моей волей. Она остановилась. Дышала тяжело, но не плакала. Аня кивнула Олегу Викторовичу. Он смотрел на диктофон. Маленький красный огонёк записи был другим, чем на планшете. Менее холодным. Может быть, потому что теперь он сам выбирал слова. — Я, Олег Соколов, — начал он и сразу понял, что голос сел. Он откашлялся. — Я, Олег Соколов, отказываюсь от всех согласий, которые дал, не понимая или не желая понимать их последствий. Я отказываюсь считать подпись, страх, надежду, усталость, плач, молчание или болезнь согласием ребёнка. Я не разрешаю использовать мой голос как ключ. Не разрешаю использовать мои прежние слова против моей дочери, моей семьи или других детей. Если я когда-то сказал «продолжайте», это не было правдой. Это было ошибкой. Я отзываю её. Он замолчал. Аня остановила запись не сразу. Подождала ещё несколько секунд, будто оставляла место для того, что может быть важнее слов. Потом выключила диктофон, вынула карту памяти и положила её в защитный контейнер. — Сделаем копии офлайн, — сказала она. — Одну передадим группе, если будет канал. Наталья спросила: — А если не будет? Аня посмотрела на неё. — Тогда это останется показанием. Наталья усмехнулась — горько, без радости. — Показанием.

После всего. — Иногда показание — единственное, что не даёт им переписать событие, — сказала Аня. Олег Викторович посмотрел на документы. Ему вдруг показалось, что бумага стала тяжелее. Не символически — физически. Как будто каждая страница вобрала в себя чей-то голос и теперь лежала на столе не листом, а пластиной. — Есть ещё кое-что, — сказал он. Аня сразу включила планшетную запись. — Говорите. — После смерти Милы Беляев пришёл к нам домой. Наталья резко повернулась к нему. — Что? Он не смотрел на неё. — Ты была у матери. Лера спала. Или делала вид. Я не знаю. Он пришёл вечером. Без предупреждения. Сказал, что фонд выражает соболезнования и готов помочь с документами, компенсацией, психологом. Я хотел выгнать его. Правда хотел. Но он сказал, что есть вещи, которые лучше не оставлять открытыми. Аня наклонилась вперёд. — Какие вещи? — Он принёс маленький конверт. Там была кассета. Или мини-диск, не помню. Запись голоса Милы. Он сказал, что это последний стабильный фрагмент, сделанный до ухудшения. Сказал, что мы можем сохранить его как память, но лучше не слушать сразу. Наталья прошептала: — Ты взял? — Да. — Где он? Олег Викторович почувствовал, что вот сейчас она действительно может его ударить, и не был уверен, что не заслуживает. — Я отдал Беляеву обратно. Она смотрела на него, не понимая. — Почему? — Потому что он включил одну фразу. Только одну. — Какую? Олег Викторович закрыл глаза. Он слышал её все эти годы, хотя уверял себя, что забыл. Детский голос. Слабый. Не совсем Мила — или Мила, но уже через что-то, через шум, через стекло. Фраза, после которой он перестал спать нормально. — «Папа, не отдавай мой голос». Наталья закрыла рот обеими руками. Аня замерла. — И вы отдали запись Беляеву? Олег Викторович кивнул. — Я испугался. Не записи. Того, что если Наташа услышит, она умрёт. Того, что Лера услышит. Того, что я всю жизнь буду включать и выключать эту фразу, пока не сойду с ума. Беляев сказал, что некоторые фрагменты нестабильны, что они могут быть результатом наложения, что лучше передать носитель на безопасное хранение. Я отдал. — Он оставил расписку? Документ? Олег Викторович горько усмехнулся. — Конечно нет. — Вы помните, как выглядел конверт? — Серый. Без логотипа. На нём была наклейка с кодом. Кажется… — Он сжал глаза сильнее, выдавливая из памяти картинку. — «М-ЛИСА-02». Нет. «ML-SA». Или… подождите. Он потянулся к блокноту и написал несколько вариантов. Рука дрожала. «MILA_FOX_02» «ML_FX_02» «M-LS-A02» На третьем варианте он остановился. — Вот это. Почти уверен. Аня сфотографировала запись и отправила через защищённый канал. Ответ пришёл не сразу. Ответ пришёл не сразу. Секунды растянулись так мучительно, что Олег Викторович впервые за всё время показаний поймал себя на почти детском желании: пусть не ответят. Пусть эта деталь окажется случайной, ошибочной, ненужной. Пусть код на конверте ничего не значит. Пусть хоть что-нибудь из сказанного им за эту ночь не станет ещё одним ключом к двери, за которой сейчас находилась Лера.

Но планшет мигнул.

Аня прочла сообщение, и лицо её стало совсем неподвижным.

— Что? — спросила Наталья.

Аня посмотрела сначала на неё, потом на Олега Викторовича.

— Код похож на маркировку вторичных капсул. Не основной архив, а резервный эмоциональный фрагмент.

— Что это значит? — спросил он, хотя уже понимал, что хороший ответ невозможен.

Аня медленно повернула планшет так, чтобы они увидели экран. Там было сообщение от Савелия, короткое, без обычной его язвительности:

«M-LS-A02 может быть привязкой к объекту „Лиса“. Если носитель вернули Беляеву, он мог использовать его как семейный эталон. Это не просто запись Милы. Это фрагмент, который подтверждал, что система однажды уже распознала голос семьи как доступ».

Наталья прочла и не сразу поняла. Потом будто вся осела внутрь себя.

— Семейный эталон, — повторила она. — Они сделали из нас пароль.

Олег Викторович хотел сказать «не из тебя», «я виноват», «я не знал», но все эти слова были слабыми, старыми и бесполезными. Они действительно сделали из них пароль. Из его подписи. Из её слёз. Из Лериного детского прозвища. Из Милы, которая просила не отдавать голос. Из семьи, которая хотела спасти ребёнка и поэтому стала удобной дверью.

Аня быстро написала ответ группе. Олег Викторович увидел только начало:

«Семейный эталон подтверждён. Возможен старый фрагмент М…»

Дальше она закрыла экран ладонью, не из скрытности, а будто сама не хотела видеть продолжение.

— Это нужно передать Лере, — сказала Наталья.

— Передадим, если канал позволит.

— Нет. Нужно сейчас.

— Канал нестабилен.

— Тогда я скажу.

Аня подняла глаза.

— Нет.

— Если мой голос всё равно уже там, — Наталья говорила тихо, но с такой силой, что даже Олег Викторович не решился перебить, — если они уже использовали меня, то я имею право использовать себя обратно.

— Вы не понимаете риска.

— Понимаю. Впервые за много лет понимаю.

Аня встала.

— Любая передача голоса может быть перехвачена. Любая фраза может стать материалом. Особенно сейчас. Особенно ваша.

Наталья тоже поднялась. Одеяло упало окончательно, осталось лежать у её ног серой кучей.

— Тогда запишите текстом.

— Мы уже отправляем.

— Не так. Не протоколом. Не кодом. Ей нужно не только знать про капсулу. Ей нужно знать, что это не Мила просит. Что если она услышит эту фразу, если услышит «папа, не отдавай мой голос», это не просьба открыть. Это просьба не отдавать дальше.

Аня молчала. Наталья повернулась к Олегу Викторовичу.

— Скажи точно. Как звучала фраза?

Он выдохнул.

— «Папа, не отдавай мой голос».

— Больше ничего?

— После этого был шум. И будто… — Он сжал руки. — Будто она хотела ещё сказать, но Беляев выключил.

— Что она могла сказать?

— Не знаю.

— Вспоминай.

— Наташа…

— Вспоминай!

Её крик ударил по складу, и где-то у двери один из людей Инги резко обернулся. Аня подняла руку, показывая, что всё под контролем, но сама смотрела на Олега Викторовича не менее напряжённо.

Он закрыл глаза. Конверт. Гостиная. Вечер. Лера наверху. Наталья у матери. Беляев стоит у книжного шкафа, не садится, говорит тихо, чтобы не разбудить ребёнка. В руках маленький диктофон или плеер. Щелчок. Шум. Потом голос Милы. Слабый, как из другой комнаты.

«Папа, не отдавай мой голос».

Потом действительно был шум.

Нет, не просто шум.

Второй звук. Согласный. Короткий вдох. Попытка.

Олег Викторович открыл глаза.

— Она сказала ещё «ей».

— Кому ей?

— Не знаю. Очень тихо. Я тогда решил, что показалось. Фраза была… — Он поднял руки, словно мог удержать воздух, в котором когда-то прозвучали слова. — «Папа, не отдавай мой голос ей». Или «им». Нет. Подождите.

Он снова закрыл глаза.

Не надо торопиться. Не надо подгонять память под вину. Он столько лет делал именно это: выбирал версию, с которой легче жить. Сейчас нужна была не лёгкая версия, а точная.

Шум. Голос. Вдох. «Папа, не отдавай мой голос… Лисе».

Он побледнел. Наталья отступила на шаг.

— Что?

Олег Викторович смотрел на неё, не в силах сразу произнести.

— Она сказала: «Папа, не отдавай мой голос Лисе».

В складе стало так тихо, что было слышно, как щёлкает нагреватель где-то у стены.

Аня первой взяла себя в руки.

— Вы уверены?

— Нет, — сказал он честно. — Но теперь… да. Почти да. Я тогда не понял, почему Лисе. Подумал, что это детское. Их с Лерой. Что она просит не давать запись сестре, чтобы не травмировать.

Поэтому и отдал Беляеву. Господи. Он согнулся, будто его ударили в живот. Наталья стояла неподвижно, и лицо её было страшным.

— Она предупреждала не Леру, — сказала она медленно. — Она предупреждала о Лере.

Аня уже печатала. Очень быстро. Без протокольной аккуратности, пальцы почти били по экрану:

«СРОЧНО. Возможный точный текст фрагмента MILA/FOX: „Папа, не отдавай мой голос Лисе“. Это может означать: голос Милы нельзя подключать к Лере. Не семейная память, а запрет на передачу ключа. Предупредить группу».

Сообщение ушло. На экране появился значок отправки. Потом — пустота. Не «доставлено». Не «ошибка». Просто пустой серый кружок. Аня нахмурилась и попробовала ещё раз через резервный канал. Второй кружок завис рядом с первым.

— Нет связи? — спросила Наталья.

Аня не ответила. Олег Викторович смотрел на экран так, будто мог силой взгляда протолкнуть сообщение туда, под землю, к дочери. Но серые кружки не двигались. Тогда планшет вдруг мигнул. Не входящим сообщением. Экран сам открыл окно текстового редактора. Аня замерла. Клавиатура на экране появилась без прикосновения. Буквы начали набираться сами, медленно, с маленькими паузами между словами:

«ПОЗДНО»

Наталья сделала шаг назад.

Олег Викторович перестал дышать.

Следующая строка появилась ниже:

«ГОЛОС УЖЕ ПЕРЕДАН»

Аня схватила планшет, попыталась отключить сеть, но экран не погас. Буквы продолжали появляться:

«ОТКАЗ РОДИТЕЛЕЙ ПРИНЯТ КАК НОВЫЙ ОТКЛИК».

— Выключи его, — сказал Олег Викторович.

Аня зажала кнопку питания. Ничего. На экране появилась последняя строка:

«СПАСИБО ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»

И только после этого планшет погас. Несколько секунд никто не двигался.

Потом Аня резко выдернула из устройства батарейный модуль, хотя руки у неё впервые заметно дрожали. Один из людей Инги подбежал к двери склада, второй проверил камеры, третий начал отсоединять кабели от роутера. Вся сцена вдруг стала суетливой и страшно реальной: провода, оружие, стук ящиков, скрип снега за воротами. Но Олег Викторович уже почти не видел этого. Он смотрел на диктофон, на котором они с Натальей только что записали отказ. Отказ, который система назвала новым откликом.

— Мы опять сделали то, что им нужно, — сказал он.

Наталья повернулась к нему. И в её лице он увидел не ненависть, не только ужас, а нечто куда более тяжёлое: понимание, что их вина больше не находится в прошлом. Она двигается вместе с ними. Любой жест может стать частью чужого механизма. Даже покаяние. Даже отказ. Даже попытка спасти.

— Нет, — сказала она наконец.

Голос её был тихим, но в нём появилась та самая жёсткость, которая уже звучала, когда она записывала отказ. Олег Викторович поднял глаза.

— Наташа…

— Нет, — повторила она. — Они приняли наш отказ как отклик. Но не как согласие. Это разные вещи.

Аня медленно посмотрела на неё. Наталья говорила уже ей:

— Вы сами сказали: формулировки важны. Если они могут подменять слова, значит, мы должны быть точнее. Мы не молчим. Но и не открываем. Мы отказываемся снова. И снова. Пока у них не останется способа назвать это «да».

Олег Викторович смотрел на жену, и впервые за эту ночь ему показалось, что вина — это не только груз. Иногда это ещё и место, с которого уже невозможно отступить, потому что позади слишком много мёртвых, чтобы снова делать вид, будто ты не слышишь. Аня включила другой прибор — не планшет, не сетевое устройство, а старую механическую камеру с автономной записью на карту. Проверила индикатор, убедилась, что он не подключён ни к чему, и поставила перед Натальей.

— Говорите.

Наталья выпрямилась.

— Я, Наталья Соколова, подтверждаю: мой отказ не является согласием. Мой страх не является согласием. Моя попытка предупредить дочь не является разрешением использовать её. Если система принимает мой голос как отклик, я уточняю отклик: нет. Если система принимает моё «нет» как участие, я уточняю участие: я участвую только в остановке насилия. Если система принимает мою боль как ключ, я отзываю ключ. Если это невозможно, я ломаю дверь. Она замолчала. Аня перевела камеру на Олега Викторовича. Он не был готов, но впервые это не имело значения. Готовность слишком долго была роскошью, которой он оправдывал бездействие.

— Я, Олег Соколов, — сказал он, — подтверждаю то же самое. Мой прежний голос не является доступом. Моя подпись не является правом. Моя ошибка не является законом. Если запись моей дочери содержит фразу «не отдавай мой голос Лисе», я признаю это не запретом для Леры, а запретом для тех, кто пытается сделать из Леры носитель чужого голоса. Я свидетельствую: этот голос был украден. И я требую считать любое его использование насилием, а не согласием.

Он остановился, потому что дальше голос мог сорваться. Но запись продолжалась. За дверью склада вновь заскрипел снег. Кто-то вошёл и передал Ане записку — бумажную, сложенную вдвое. Она развернула её, прочла и побледнела.

— Что теперь? — спросила Наталья.

Аня не ответила сразу. Она просто положила лист на стол. На нём от руки было написано: «Связь с фургоном потеряна. Последний пакет от Савелия: „Узел К не принимает отказы как согласие. Он собирает их для суда“.»

Ниже шла вторая строка, уже обрезанная, словно сообщение не успело дойти полностью: «Вопрос только в том, кто будет обвиняемым».

Олег Викторович медленно сел. Красная точка записи продолжала гореть. И впервые за эту ночь он понял, что их показания могут понадобиться не для того, чтобы оправдать живых. А для того, чтобы кто-то — или что-то — вынесло приговор.

Глава 5 Дом без медведя

Дом встретил их темнотой, какой обычно темнеют места, где слишком долго никто не живёт по-настоящему. Не пустотой — именно темнотой. Пустота бывает честной: в ней нет вещей, нет запахов, нет следов, она не притворяется ничьим убежищем. А здесь всё ещё оставалось на местах. Шторы, которые Наталья когда-то выбирала весной, потому что Мила любила, как сквозь них проходит солнце. Вешалка в прихожей, где висела старая Лерина куртка, давно малая, но почему-то не выброшенная. Полка с обувью, на которой до сих пор стояли детские резиновые сапоги с облупившимися жёлтыми утками. Несколько фотографий на стене, перевёрнутых лицом вниз не потому, что их хотели убрать, а потому, что смотреть на них стало невозможно. Лера не была в этом доме много лет ночью. Днём дом ещё можно было выдержать. Дневной свет делал его просто старым семейным местом, где многое закончилось плохо, но всё-таки закончилось. Ночью он снова становился тем, чем был в последние месяцы жизни Милы: территорией осторожных шагов, закрытых дверей, тихих разговоров на кухне, телефонных звонков врачам, шёпота за стенами и бессонницы, которая пропитывала мебель не хуже сырости. Они приехали не всей группой. После камеры задержанной речи и найденного архива Инга сначала не хотела отпускать Леру из Узла К, но обстоятельства, как почти всё этой ночью, оказались сильнее нормальной логики. Связь с фургоном исчезала и возвращалась рваными кусками. Савелий успел передать, что в старом доме Соколовых может находиться не просто вещь Милы, а локальный семейный якорь — предмет, через который система когда-то закрепила связь между голосом ребёнка и голосами родителей. Олег Викторович подтвердил существование серого конверта с записью, а Наталья вспомнила, что после похорон некоторые вещи Милы убрали не на чердак, а в подвал, в большой пластиковый контейнер с красной крышкой. Там же, по словам Леры, когда-то лежал плюшевый медведь с бантом. Медведь, который уже должен был быть в Узле К. Но если в подвале оставалось что-то ещё, это могло оказаться важнее самого медведя. Инга приняла решение быстро и зло. Она оставалась в подземном блоке с Кравцом и двумя своими людьми, чтобы не дать Узлу окончательно закрыться вокруг них и продолжить поиск комнаты первичного согласия. Марк и Лера должны были выехать к дому с одним оперативником Инги — молчаливым мужчиной по фамилии Орлов. Савелий, связь с которым восстановилась на несколько минут, настоял, что сам будет вести их дистанционно, если канал не провалится окончательно. На возражение Марка он прислал только одно сообщение: «Если в доме начнут говорить игрушки, хотя бы не спрашивайте их, где батарейки». Лера тогда почти улыбнулась, но сейчас, стоя перед входной дверью родительского дома, уже не могла вспомнить, как это делается. Ключ повернулся в замке с трудом. Дверь открылась, впуская их в холодную прихожую. Орлов первым прошёл внутрь, проверил углы, лестницу, кухню, коридор. Двигался он бесшумно, экономно, без лишней драматичности, и именно поэтому Лере было с ним спокойнее, чем могло бы быть с человеком, который пытается выглядеть героем. Марк вошёл следом, держа телефон с отключённым звуком и включённым фонарём, направленным вниз, чтобы не слепить. Лера переступила порог последней. Запах ударил сразу. Пыль, старое дерево, холодная ткань, чуть влажная штукатурка — и под этим что-то едва заметное, сладковатое, детское. Не настоящее. Память о запахе. Так иногда кажется, что в пустой комнате пахнет человеком, который давно умер, хотя на самом деле пахнет шкафом, мылом, коробкой с вещами, временем. Лера ненавидела этот запах именно за то, что он не был доказательством. Он ничего не возвращал. Только заставлял тело поверить на секунду, что возвращение возможно. — Подвал там, — сказала она тихо и сразу пожалела, что сказала вслух. Марк посмотрел на неё, но ничего не произнёс. Они договорились: минимум голоса. Не потому, что каждый звук обязательно опасен, а потому что в эту ночь безопасных звуков больше не существовало. Орлов жестом показал: веди. Лера прошла по коридору мимо

кухни. На кухонном столе лежала старая клеёнка с выцветшими лимонами. Именно за этим столом отец когда-то сидел с Беляевым после смерти Милы. Лера тогда была наверху. Или делала вид, что спит, как сказал отец. Она помнила, что слышала мужские голоса снизу, но не различала слов. Помнила тихий щелчок входной двери. Помнила, что утром отец выглядел так, будто не спал неделю. Но тогда все они выглядели так. Теперь она остановилась у кухонного проёма и посмотрела на стул возле окна. Марк коснулся её плеча. Она покачала головой. Потом. Если будет потом. Дверь в подвал находилась под лестницей. Раньше её всегда держали закрытой на крючок, потому что Мила боялась темноты внизу, хотя сама же иногда просила достать оттуда банки с вареньем или новогоднюю коробку с гирляндами. Сейчас крючок висел на месте, но не был зацеплен. Лера заметила это сразу. Она точно помнила: когда последний раз приезжала сюда днём, после того как дом уже почти перестали использовать, дверь была закрыта. Орлов тоже заметил. Он остановил их жестом, присел и посветил на пол. У порога в пыли виднелись следы. Не старые. Кто-то входил в подвал недавно. Возможно, этой ночью. Возможно, раньше, но после последней уборки, которая была так давно, что пыль успела лечь плотным серым слоем. Марк достал телефон и напечатал: «Медведя уже забрали отсюда». Лера посмотрела на следы. «Может, не только его», — ответила она. Орлов осторожно открыл дверь. Петли скрипнули так громко, что Лера вздрогнула. Звук прошёл по дому, поднялся к пустым комнатам второго этажа и вернулся оттуда слабым, деревянным эхом. Никто не заговорил. Ничего не включилось. Но тишина после скрипа стала внимательнее. Лестница вниз была крутой, с узкими ступенями. Внизу пахло холодом и сырым бетоном. Орлов спустился первым, затем Марк, потом Лера. Фонарик выхватил из темноты знакомые вещи: банки на полках, старый велосипед без переднего колеса, коробки с книгами, свёрнутый ковёр, пластиковую ёлку в чехле, чемодан с отломанной ручкой. И большой контейнер с красной крышкой у дальней стены. Крышка была открыта. Лера не сразу подошла. Она стояла у лестницы и смотрела на эту открытую коробку, как на вскрытую могилу. Глупое сравнение, жестокое, но другого не было. Вещи ребёнка после смерти всегда немного могила. Только вместо земли — пластик, вместо камня — наклейка с именем, вместо цветов — то, что никто не решился выбросить. Марк присел у контейнера первым. Не трогая, посветил внутрь. Там лежали одежда, альбом, несколько игрушек, коробка с фломастерами, детская расчёска, маленький розовый рюкзак с зайцем. Место, где должен был лежать медведь, пустовало. Это было видно не потому, что кто-то знал точную раскладку, а потому что вещи вокруг сохранили форму отсутствия: мягкая кофта провалилась в середине, альбом сдвинулся, на дне остался светлый прямоугольник без пыли. Медведя действительно забрали. Лера опустилась на колени перед контейнером. Она не плакала. Плач был бы слишком простым ответом для этой ночи. Она просто смотрела на вещи и чувствовала, как внутри поднимается странная, почти физическая усталость. Усталость от того, что мёртвых продолжают обкрадывать. Сначала голос, потом записи, потом имя, теперь даже игрушку. Усталость от того, что любовь к человеку не заканчивается с его смертью, но и защита не заканчивается тоже. Надо всё время догонять тех, кто пришёл после тебя и решил, что чужая память ничья. Орлов тем временем осматривал подвал. Он нашёл следы у окна-продуха: решётка была аккуратно снята и поставлена обратно. Снаружи кто-то мог пролезть, если был худым или очень мотивированным. На бетонном полу виднелись две полосы, словно контейнер отодвигали. У стены — мелкая стружка, след от инструмента. Всё было сделано аккуратно, без спешки. Не грабитель. Не случайный человек. Кто-то знал, куда идти и что брать. Марк достал из кармана тонкие перчатки и осторожно поднял альбом. — Можно? — спросил он почти беззвучно. Лера кивнула. Альбом был старый, с облезшей обложкой, на которой когда-то блестели серебристые звёзды. Мила рисовала в нём всё подряд: зверей с человеческими глазами, дома с кривыми окнами, семью в виде палочек, лис, много лис, больничные кровати, хотя взрослые тогда старались не замечать, что ребёнок рисует больницу даже дома. Страницы слиплись от времени, но сохранились хорошо. Лера переворачивала их мед-

ленно, боясь порвать. Первые рисунки были обычными. Лиса в платье. Лиса с шариком. Лиса и девочка. Лиса в машине. Лиса под кроватью — уже хуже. Потом пошли коридоры. Марк сел рядом, не касаясь её плеча, но так близко, что его присутствие стало опорой. На одном рисунке был длинный серый коридор с дверями. В конце — красная точка. Не кровь, не лампочка, просто круг, закрашенный фломастером. Под ним Мила вывела печатными буквами: «ТАМ ГДЕ СЛЫШАТ ВСЕХ». Лера задержала дыхание. Марк сфотографировал рисунок и отправил Инге, затем Савелию. Связь была слабой, но изображение ушло. Следующая страница оказалась вырвана. Не грубо — аккуратно, по линии. Остался только рваный край у спирали. — Эту забрали, — сказал Марк. Лера провела пальцем по обрыву. — Или она сама вырвала. — Зачем? — Чтобы спрятать. Она не знала, почему сказала это. Может быть, потому что Мила часто так делала: если рисунок был особенно важный, она не показывала его сразу, а прятала в книжку, под подушку, в карман Лериной куртки, будто тайна становилась настоящей только после того, как её надо было найти. Лера стала листать дальше. Через несколько страниц они нашли рисунок, который раньше не видели. На нём был дом. Их дом. Узнаваемый, хотя нарисованный детской рукой: три окна наверху, крыльцо, яблоня сбоку, забор. Но под домом Мила нарисовала ещё один дом — чёрный, перевёрнутый, с такими же окнами, только без дверей. Между настоящим домом и чёрным шла лестница вниз. У лестницы стояла лиса. Не в платье, не сказочная. Маленькая рыжая лиса, повернувшая морду к зрителю. Рядом с ней — мальчик в очках. За мальчиком была стена, а за стеной — множество маленьких кружков, похожих на глаза. Внизу Мила написала: «ЯН НЕ ТАМ, ГДЕ ДВЕРЬ. ЯН ТАМ, ГДЕ ЭХО». Лера почувствовала, как пол под коленями словно ушёл ниже. Имя ударило сильнее, чем должно было. Она не произнесла его вслух, но написанное детской рукой имя казалось ещё опаснее. Не системная метка. Не код «Я.Р.». Не «нестабильный переводчик». Просто Ян. Мальчик за стеной. Тот, кого Мила, возможно, знала лучше, чем все взрослые вокруг. Марк тоже смотрел на рисунок молча. Потом очень осторожно сфотографировал страницу. Сообщение Савелию не уходило. Серый кружок крутился рядом с файлом, потом исчезал, потом появлялся снова. Марк выругался одними губами. Орлов подошёл ближе и показал на нижний угол рисунка. Там, почти у самого края страницы, была ещё одна мелкая надпись. Лера сначала приняла её за каракули, но, повернув альбом к свету, разобрала: «МЕДВЕДЬ НЕ ДЛЯ МИЛЫ». Марк тихо выдохнул. Лера перечитала фразу. Медведь не для Милы. Тогда для кого? Она перевернула страницу. Следующий рисунок был проще. Плюшевый медведь с красным бантом сидел на столе. Внутри его живота Мила нарисовала маленький кружок, как пуговицу или монету. От кружка шли линии к трём фигурам: к девочке с двумя косичками, к лисе и к мальчику в очках. Но одна линия была перечёркнута. Та, что шла к девочке. Под рисунком: «ОН ДЕРЖИТ ТОГО, КТО ОТВЕЧАЕТ». Лера закрыла глаза. Медведь не хранил Милу. Или не только Милу. Медведь держал того, кто отвечает. Яна. Его профиль. Его способность отвечать системе. Значит, когда медведя забрали, забрали не память о Миле, а инструмент, который связывал Яна с Узлом. Мила спрятала его не как игрушку, а как замок. Или как якорь. А взрослые всё это время думали, что это просто медведь. Телефон Марка вдруг завибрировал в руке. Не звуком — короткой вибрацией, хотя режим был полностью беззвучный. На экране появилось входящее текстовое сообщение от Савелия. «Получил фото. Не нравится. „Медведь не для Милы“ означает, что капсула могла быть не архивом, а контейнером активного отклика. Если он уже в Узле, они могут заставлять переводчика отвечать. Не зовите его даже мысленно. Да, я понимаю, как это звучит. Нет, я не шучу». Марк показал экран Лере. Она прочла и медленно положила ладонь на страницу с рисунком. Не закрывая надпись, а словно удерживая её здесь, в подвале, чтобы она не убежала в сеть. Орлов тем временем продолжал осматривать контейнер. Он достал маленькую жестяную коробку из-под печенья. Внутри были наклейки, бусины, заколки и несколько сложенных бумажек. Лера узнала их сразу. Мила любила писать записки, когда говорить стало трудно. Не всегда словами — иногда стрелками, рисунками, отдельными

буквами. Взрослые тогда умилялись этому, пока не стало слишком страшно. Одна бумажка была сложена вчетверо и заклеена старой наклейкой с лисой. Настоящей Милы. Кривой. С одним ухом выше другого. Лера очень медленно отклеила наклейку. Внутри был не рисунок, а текст. Написанный неровно, крупными печатными буквами, с ошибками, но понятный. «ЛЕРА ЕСЛИ ТЫ НАЙДЁШЬ ТО НЕ РУГАЙСЯ Я НЕ СКАЗАЛА ПОТОМУ ЧТО ОНИ СЛЫШАТ КОГДА ГОВОРИШЬ И КОГДА НЕ ГОВОРИШЬ ТОЖЕ НЕМНОГО. МЕДВЕДЬ НЕ МОЙ. ОН ДЛЯ МАЛЬЧИКА. ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕХ ПОТОМУ ЧТО УМЕЕТ СЛЫШАТЬ ТИХИХ. ЕСЛИ ЕГО ЗАБЕРУТ В ГОРОД ОН УСТАНЕТ И СКАЖЕТ ДА. НЕ ДАВАЙ ЕМУ СКАЗАТЬ ДА. ЕСЛИ УСЛЫШИШЬ МЕНЯ Я НЕ ПРОШУ ОТКРЫТЬ. Я ПРОШУ НЕ ОТДАВАТЬ МОЙ ГОЛОС ЛИСЕ. ПОТОМУ ЧТО ЛИСА ЭТО ТЫ А ОНИ ХОТЯТ ЧТОБЫ Я ЗВАЛА ТЕБЯ И ТЫ СТАЛА ДВЕРЬЮ. Я НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ ТЫ БЫЛА ДВЕРЬЮ. Я ХОЧУ ЧТОБЫ ТЫ БЫЛА ЛЕРОЙ. ТВОЯ МИЛА». Лера не заметила, что перестала дышать, пока Марк не коснулся её руки. Бумага дрожала в пальцах. Она перечитала записку один раз. Потом второй. Потом третий. С каждым разом слова становились не понятнее, а тяжелее. «Я не хочу чтобы ты была дверью». Вот что означала фраза из записи. Не обвинение. Не запрет сестре услышать. Не страх перед Лерой. Мила пыталась защитить её так, как умела: кривыми буквами, спрятанными в коробке с заколками и наклейками. Она знала, что её голос используют, чтобы позвать Леру. Она знала раньше взрослых. Раньше врачей. Раньше всех. Лера подняла глаза на Марка. Он читал через её плечо, и лицо у него было таким, каким она его почти не видела: без журналистского напряжения, без злости, без рабочей собранности. Просто человеческим. Уставшим и потрясённым. — Она всё поняла, — сказал он очень тихо. Лера не стала поправлять его за голос. Иногда молчание становится жестокостью. Иногда нужно, чтобы человек сказал то, что иначе разорвёт его изнутри. — Не всё, — ответила она. — Но главное. Слово прозвучало в подвале и исчезло без эха. Орлов, стоявший у стеллажа, вдруг резко повернулся. Он поднял руку, приказывая замолчать, и выключил фонарь. Подвал погрузился в темноту, только слабый свет от телефона Марка падал на альбом и записку. Лера услышала сверху звук. Шаг. Не на улице. В доме. Марк мгновенно погасил экран. Теперь темнота стала полной. Лера сидела на бетонном полу, сжимая записку Милы, и слушала, как наверху кто-то медленно проходит по коридору. Один шаг. Пауза. Ещё один. Орлов бесшумно переместился к лестнице. Его силуэт почти не различался. Марк взял Леру за запястье и осторожно потянул за контейнер, в тень. Она подчинилась, хотя всё внутри сопротивлялось: записку нельзя мять, альбом нельзя оставить открытым, вещи Милы нельзя снова бросать. Но живым пришлось спрятаться среди мёртвых вещей, и в этом было что-то унизительное и правильное одновременно. Сверху скрипнула половица у кухни. Потом ещё одна. Кто бы это ни был, он не прятался. Он шёл как человек, который имеет право быть в доме. Или как тот, кто знает, что его всё равно услышат. Телефон Марка в руке едва заметно засветился. На экране, без вибрации и без сигнала, появилось сообщение от неизвестного номера: «В ПОДВАЛЕ ХОЛОДНО». Лера смотрела на светящиеся буквы и чувствовала, как старый дом вокруг них перестаёт быть просто домом. Следующая строка появилась сама: «ОНА ТАМ ПЛАКАЛА». Марк медленно повернул экран к себе, затем к Лере. Лицо его в слабом свете стало серым. Новая строка: «ТЫ НЕ ПРИШЛА». Лера закрыла глаза. Вот так это работало. Не монстр. Не кровь. Не крик из стены. Всего три слова, выбранные с хирургической точностью. Ты не пришла. И сразу подвал исчезает, операция исчезает, Узел К исчезает. Остаётся маленькая Лера, которая когда-то обиделась, устала, закрыла дверь своей комнаты и не пошла к сестре, потому что не могла больше слышать бесконечное беззвучное горе в доме. Марк накрыл экран ладонью. Лера положила поверх его руки свою и медленно покачала головой. Нет. Не отвечать. Даже внутри. Сверху раздался голос. — Лера? Она застыла. Голос был женский. Мамин. Тёплый, испуганный, почти настоящий. — Лера, ты внизу? Пожалуйста, ответь. Марк сжал её запястье так сильно, что стало больно. Боль помогла. Наталья была на складе. Или должна была быть. Но даже если бы не была, она не

вошла бы в дом одна, не назвала бы Леру вслух после всего, что уже случилось. Настоящая мать этой ночью научилась не произносить имя. Значит, голос наверху был не ею. — Я нашла кое-что, — сказал мамин голос из кухни. — Я знаю, как спасти Милу. Лера почувствовала, как записка в её руке хрустит. Орлов на лестнице не двигался. Наверное, ждал, когда фигура наверху подойдёт ближе. Но вместо шагов они услышали другой звук — лёгкое волочение по полу. Будто кто-то тащил мягкую игрушку за лапу. Потом детский голос, слабый и сонный, произнёс: — Лиса? Мир сузился до этого слова. Это был голос Милы. Не запись из архива, не синтетический отзвук, не тот искажённый телефонный шёпот, который Лера уже слышала раньше. Этот голос был домашний. Маленький. Тот самый, каким Мила звала её по утрам, когда ещё могла говорить лучше, когда болезнь ещё не забрала у слов устойчивость. Голос из их общего прошлого, где лиса означала не ключ, а игру. — Лиса, я нашла медведя. Лера открыла глаза. Темнота перед ней была густой, подвал — холодным, Марк рядом — живым, записка в руке — настоящей. «Если услышишь меня, я не прошу открыть». Мила написала это заранее. Мила знала. Голос наверху повторил, чуть тише: — Я нашла медведя. Иди сюда. Лера медленно вынула телефон из кармана и, не включая звук, открыла заметки. Пальцы плохо слушались, но она набрала одну фразу и показала Марку: «Это не она. Она бы не просила меня идти». Марк прочитал и кивнул. Орлов вдруг резко шагнул вверх по лестнице. Быстро, почти беззвучно. Через секунду наверху что-то ударилось о стену, раздался короткий глухой звук борьбы, потом скрип, тяжёлое дыхание, и всё стихло. Марк поднялся следом, но Лера схватила его за рукав. Он обернулся. Сверху донёсся голос Орлова: — Чисто. Марк расслабился на долю секунды. Лера — нет. Потому что Орлов всё это время не произносил ни слова. Она резко потянула Марка назад. И вовремя. В проёме лестницы вспыхнул белый свет, ослепительный, как больничная лампа. Из света вниз полетело что-то маленькое металлическое, ударилось о ступень, подпрыгнуло и покатилось к их ногам. Орлов, настоящий Орлов, сдавленно выругался сверху — уже своим голосом, живым, злым, человеческим. Марк успел пнуть предмет в сторону старого велосипеда. Через мгновение подвал заполнился резким шипением. Не взрывом. Газом. Белёсый туман вырвался из маленького баллончика и пополз по полу. — Наверх! — крикнул Марк. Теперь уже никто не думал о тишине. Они бросились к лестнице. Лера прижала к груди альбом и записку, Марк подтолкнул её вперёд. Газ жёг глаза и горло, поднимался снизу, делая воздух липким. На лестнице Орлов действительно боролся с кем-то — Лера увидела только тёмную фигуру в маске, блеск лезвия или инструмента, руку Орлова, удар о перила. Марк вытащил Леру наверх, почти выбросил в коридор, и сам тут же развернулся помочь Орлову. Человек в маске оказался быстрым. Не сильным, но подготовленным. Он не пытался убить — только задержать. Ударил Орлова в плечо, увернулся от Марка, бросил что-то ещё в сторону кухни. В прихожей мигнул свет, хотя электричество в доме, насколько Лера знала, давно было отключено от части комнат. И тогда дом заговорил. Не одним голосом. Сразу многими. Из старого радиоприёмника на кухне, из телевизора в гостиной, из детского ночника на лестнице, который не должен был работать без батареек, из телефона Марка, из кармана Орлова, из пустых комнат второго этажа — со всех сторон раздались обрывки голосов: — Лера… — Лисичка… — Доченька… — Ответь… — Она плачет… — Открой… — Только скажи… — Скажи да… Лера зажала уши, но это почти не помогло. Голоса были не столько звуком, сколько направлением удара. Каждый знал, куда бить. Мамин голос. Отцовский. Милин. Её собственный, детский. Даже голос Яна — или то, что система хотела выдать за него, — тихий, усталый: — Не могу больше. Лера пошатнулась. Марк схватил её за плечи и крикнул: — Смотри на меня! Она посмотрела. Его губы двигались, но голоса вокруг почти заглушали всё. Тогда он не стал говорить. Он просто взял её руку и вложил в неё записку Милы, которую она чуть не выронила. Бумага была мятая, тёплая от ладони, реальная. «Я хочу чтобы ты была Лерой». Лера вцепилась в эти слова, как в поручень. Человек в маске тем временем добрался до входной двери. Орлов выстрелил — коротко, глухо, в дверной косяк или в плечо, Лера не поняла.

Фигура дёрнулась, но всё равно выскочила наружу. Марк бросился следом, однако Орлов удержал его: — Не надо! Второй может ждать снаружи. Голоса в доме начали стихать. Не сразу. Они распадались, как радиоэфир, уходили в помехи, теряли знакомые интонации, превращались в шорох, щелчки, короткие цифровые обрывки. Последним исчез голос Милы. — Лиса, не отдавай… И тишина. Настоящая или просто следующая ловушка — Лера не знала. Она стояла посреди коридора, кашляя от газа, с альбомом под мышкой и запиской в кулаке. Глаза слезились, горло горело. Марк тоже кашлял, держась за стену. Орлов, тяжело дыша, проверял дверь и окно, затем быстро набрал сообщение Инге. Лера заставила себя пройти на кухню. Там, на столе с клеёнкой в лимонах, лежал предмет, которого раньше не было. Красный бант. Тот самый, с медведя Милы. Он был аккуратно развязан и расправлен, словно кто-то положил его не как улики и не как насмешку, а как приглашение. Рядом лежал маленький листок бумаги. Не детский. Взрослый. Белый, ровно обрезанный. На нём было напечатано: «МЕДВЕДЬ УЖЕ В ГОРОДЕ». Ниже: «ПЕРЕВОДЧИК УСТАЛ». И последняя строка: «ПРИВЕДИТЕ ЛИСУ ДО РАССВЕТА, ИНАЧЕ ОН ОТВЕТИТ ЗА ВСЕХ». Лера смотрела на бумагу, и в ней не осталось ни страха, ни усталости, ни даже злости в прежнем виде. Только ясность. И ещё — странное, спокойное, почти жестокое понимание: они больше не гнались за прошлым. Прошлое уже догнало их, вошло в дом, вскрыло подвал, забрало игрушку, заговорило голосами семьи и оставило на кухонном столе бант от медведя, как красный флажок на карте. Марк подошёл сзади. — Что там? Лера протянула ему листок. Он прочитал, и лицо его стало жёстким. — Это шантаж. — Нет, — сказала Лера. Голос хрипел после газа, но звучал ровно. — Это ошибка. Марк посмотрел на неё. — Почему? Она подняла записку Милы. — Они думают, что Лиса — дверь. А Мила оставила мне инструкцию, как ею не быть. Орлов вошёл на кухню, прижимая ладонь к рассечённому плечу. — Нужно уходить. Сейчас. Дом засвечен. Лера кивнула, но перед выходом снова посмотрела на стол, на место, где много лет назад Беляев включил отцу последнюю запись Милы. Тогда отец отдал голос назад, потому что испугался. Сегодня они заберут всё, что осталось, с собой. Она сложила записку и убрала её во внутренний карман, рядом с первой. Альбом прижала к груди. Когда они вышли на улицу, снег всё ещё падал. У калитки Лера обернулась. В одном из окон второго этажа на секунду мелькнул свет. Там была её старая комната. Свет вспыхнул и погас. Телефон Марка снова завибрировал. На экране появилось сообщение от Савелия: «Наконец пробилось. Инга нашла маршрут к комнате первичного согласия. Кравец говорит, что таймер ускорился. Теперь не 03:12. Осталось 01:47». Следом пришло второе сообщение: «И ещё. Не знаю, как мягко сказать, поэтому скажу плохо: Узел только что получил новый голосовой фрагмент Милы. Источник — ваш дом». Лера закрыла глаза на одну секунду. Дом позади молчал. Но теперь она знала: молчание не означало, что он пуст. Она открыла глаза и пошла к машине. До рассвета оставалось меньше двух часов.

Глава 6 Возвращение речи детям

К зданию бывшего центра они возвращались другой дорогой, хотя слово «возвращались» было не совсем точным. Лера ещё не была там наверху, у главного входа, под вывеской, где когда-то обещали вернуть детям речь. Она прошла в Узел через подземную акустическую камеру, через чужое эхо, через дверь, которая не должна была быть дверью. Но теперь, сидя на заднем сиденье машины с альбомом Милы на коленях, она чувствовала странную уверенность: это место уже давно было частью её жизни. Просто раньше оно скрывалось за названиями фондов, за кабинетами, за папками, за голосами взрослых, которые умели говорить мягко.

Дом остался позади, но не отпустил. В волосах и одежде всё ещё держался едкий запах газа. Глаза слезились, горло саднило. Марк сидел рядом, иногда кашлял в локоть и проверял сообщения. Орлов вёл машину молча; плечо ему перетянули наспех ещё у калитки, кровь уже не текла, но Лера видела, как он время от времени сжимает руль чуть сильнее. Никто не обсуждал нападение подробно. Времени на подробности больше не было. Человек в маске ушёл, и это было важно, но важнее стало другое: Узел получил новый фрагмент Милы из дома. Значит, дом всё это время был не просто местом хранения вещей. И самое страшное заключалось в том, что это уже нельзя было отменить. Лера раскрыла альбом на записке Милы и снова прочла последние строки, хотя знала их почти наизусть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.